



Анатолий Рыбаков

Дети Арбата.
Книга 2. Страх

ФТМ



Анатолий Наумович Рыбаков
Страх
Серия «Дети Арбата», книга 2

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=121486
Дети Арбата. Книга 2. Страх: ФТМ; Москва; 1998
ISBN 978-5-4467-0055-4*

Аннотация

Трилогия «Дети Арбата» повествует о горькой странице истории России – о том времени, которое называют «периодом культа личности». В романе «Страх» (вторая книга трилогии) продолжается рассказ о судьбах «детей Арбата» – Саши, Вари, Лены, Нины.

Содержание

От автора	4
Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве	5
Часть первая	8
1	8
2	26
3	35
4	50
5	61
6	65
7	76
8	81
9	107
Конец ознакомительного фрагмента.	113

Анатолий Рыбаков

Страх

От автора

Роман «Страх» – это продолжение романа «Дети Арбата». «Дети Арбата» кончаются убийством 1 декабря 1934 года С. М. Кирова. В обстановке массового, беспощадного, невиданного в истории террора, последовавшего за этим убийством, и происходит действие романа «Страх» (1935–1937 гг.).

В новом романе читатель встретится как с героями, знакомыми ему по «Детям Арбата», так и с новыми и, думаю, получит представление о том, как жили советские люди в то страшное время.

Ученые утверждают, что способность человека к физическому выживанию в самых невероятных условиях – поразительна, порой безгранична. Этого нельзя сказать о выживании моральном: приспособляемость в нравственно деформированном обществе деформирует личность. Это тема романа. И все же деформация – процесс обратимый. И это тоже тема романа.

Анатолий Рыбаков

Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве

Антону

Упрямо я твержу с давнишних пор:
меня воспитывал арбатский двор,
все в нем, от подлого до золотого.
А если иногда я кружева
накручиваю на свои слова,
так это от любви.
Что в том дурного?

На фоне непросохшего белья
руины человеческого жилья,
крутые плечи дворника Алима...
В Дорогомилово из тьмы Кремля,
усы прокуренные шевеля,
мой соплеменник пролетает мимо.

Он маленький, невытый и рябой
и выглядит растерянным и пьющим,
но суть его – пространство и разбой
в кровавой драке прошлого с грядущим.
Его клеветы топчутся в крови...
Так где же почва для твоей любви? —

вы спросите с сомнением, вам присущим.

Что мне сказать? Я только лишь пророс.
Еще далече до военных гроз.
Еще загадкой манит подворотня.
Еще я жизнь сверяю по двору
и не подозреваю, что умру,
как в том не сомневаюсь я сегодня.

Что мне сказать? Еще люблю свой двор,
его убогость и его простор,
и аромат грошового обеда.
И лну душой к заветному Кремлю,
и усача кремлевского люблю,
и самого себя люблю за это.

Он там сидит, изогнутый в дугу,
и глину разминает на кругу,
и проволочку тянет для основы.
Он лепит, обстоятелен и тих,
меня, надежды, сверстников моих,
отечество... И мы на все готовы.

Что мне сказать? На все готов я был.
Мой страшный век меня почти добил,
но речь не обо мне – она о сыне.
И этот век не менее жесток,
а между тем насмешлив мой сынок:
его не облапошить на мякине.

Еще он, правда, тоже хил и слаб,
но он страдалец, а не гордый раб,
небезопасен и небезоружен...

А глина ведь не вечный матерьял,
и то, что я когда-то потерял,
он в воздухе арбатском обнаружил.

Булат Окуджава

Часть первая

1

В положенный день не пришла почта. Не пришла она и через неделю. Но сани из Кежмы приходили к Федьке, к продавцу, привозили что-то.

Саша зашел в лавку. Федя дверь не открывал, пускал через заднее крыльцо, через кладовку.

– Тебе товары привезли?

– Привезли кой-чего.

– А почты почему нет, не знаешь?

– Кто знат. Тебе, может, чего в долг записать?

– Ничего не надо, спасибо.

Зашел Саша и к Всеволоду Сергеевичу. Тот лежал на кровати, укрытый хозяйской барчаткой – длинным полушубком до пят, со сборками на поясе.

– Заболели?

– Здоров.

– Чего же лежите?

– А что делать?

– Почему почта не приходит?

– Почта? Почты вам захотелось? Вам сейчас другую почту преподнесут.

– Не понимаю.

– Не понимаете... А что происходит в стране, понимаете? Враги рабочего класса убили товарища Кирова, а вы хотите, чтобы этим врагам аккуратно доставляли почту. Да вы что, Саша?! Властям надо изготавиться для ответного удара. Такого удара, чтобы дрогнула земля Российская. Чтобы непременно было убивать вождей рабочего класса, чтобы враги рабочего класса, личность которых еще выясняется, не смели бы подсылать убийц, личность которых тоже еще выясняется. А вы письма ждете, по газеткам соскучились. Какие письма врагам рабочего класса? Чтобы они сговорились, как избежать возмездия за совершенное убийство? Какие газеты? Чтобы они могли сориентироваться в событиях, чтобы могли маневрировать? Нет, дорогой, такой возможности вы не получите. Еще скажите спасибо, что вас не трогают, не заставляют в такой мороз шествовать до Красноярска.

– Ладно, – засмеялся Саша, – не пугайте меня, а главное, не пугайте себя.

Всеволод Сергеевич сел на кровати, уставился на Сашу.

– Вы давно видели Каюрова?

– Каюрова? На днях встретил на улице.

– Больше не встретите.

Саша вопросительно смотрел на него.

– Да, да, – повторил Всеволод Сергеевич, – его увезли сегодня ночью, подъехала кошевка, побросали его барахлишко и увезли.

– Никто этого не видел, – растерянно проговорил Саша.

– Конечно. Собаки и те не лаяли. Все спали. Вот такие дела. Вы помните своего спутника Володю Квачадзе?

– Конечно.

– Его под конвоем этапировали в Красноярск. И всех его единомышленников и с Ангары, и с Чуны. И всех гольтявинских, Марию Федоровну, бывшую эсерку, Анатолия Георгиевича, бывшего анархиста, и эту красотку... Фриду. Всех подбирают. Скоро и наша с вами наступит очередь. Вам не попадалась в Кежме старуха, ссыльная Самсонова Елизавета Петровна?

– Да, я ее знаю.

Ей Саша передавал от Марии Федоровны деньги – двадцать пять рублей.

– Эту старушку тоже угнали, а ей, между прочим, семьдесят два года.

Саша пожал плечами.

– Молодых – Володю, Фриду, меня – можно отправить в лагерь, все же даровая рабочая сила. Но старуху – ее до Красноярска не дотащат, помрет по дороге.

– Кого это интересует, кого волнует? Предписана определенная акция: ссыльных с такими-то статьями и сроками этапировать в Красноярск. Что же вы думаете, какой-нибудь уполномоченный будет рассуждать: старая, больная, жалко... Да его расстреляют за невыполнение приказа. А так – отправил, выполнил приказ. Умрет по дороге – он за это не

отвечает. А дотащат живой до Красноярска, добавят новый срок – и опять отправят – довезут, значит, довезут, не довезут, значит, спишут. Сошлось в отчетности – все правильно. Умер – сделаем отметку, уменьшим общий итог, и вся арифметика. Не знаю, как вам, Саша, вы маломерок, но мне, Михаилу Михайловичу, по их понятиям, рецидивистам, нам, как говорится в песне, «в срок назначенный».

– Ну что ж, – спокойно сказал Саша, – будем дожидаться.

Так они и продолжали жить в своей Мозгове, на краю света, оторванные от мира, но чувствующие, что в мире происходит что-то страшное, что должно вскоре коснуться и их.

С Зидой Саша почти не виделся. В Кежме уволили двух учительниц, у одной муж ссыльный, другая сама в прошлом ссыльная. Сейчас, после убийства Кирова, страну очищали от «сомнительных элементов» и обеих учительниц уволили, их заменили Зидой. С семи до десяти утра она вела уроки в Мозгове, а в десять к школе подъезжали сани, увозили ее в Кежму и уже поздно вечером привозили обратно. Все же Саша, встретив ее на улице, остановился, ласково спросил, как дела. Она отводила глаза, говорила, что все хорошо, только работы много.

– Зида, – сказал Саша, – я был не прав тогда, зря обидел тебя и очень жалею об этом. Если можешь, прости меня.

Она наконец подняла на него глаза.

– Ладно, Сашок, что было, то прошло.

– Я хочу, чтобы мы остались друзьями.

– Конечно, – Зида улыбнулась, – конечно, как же иначе. На том разговор и кончился.

Больше они не встречались: Зида была то в Мозгове, то в Кежме, а Саша нашел работу.

* * *

Лютые морозы стояли в январе 1935 года. Старые ангарцы таких не помнили. Сидели по избам, говорили: «Не зима, а зимища».

Много хлопот было у председателя колхоза Ивана Парфеновича. Конечно, разместить двести коров в деревне, где их недавно было две тысячи, несложно: женщин в колхозе хватало, и привычки к уходу за животными в них еще не истребили.

Но уследить за общим стадом, размещенным в десятке дворов, непросто. Большинство коров были стельными, и кормить надо внимательно, и поить нехолодной водой не менее трех раз в сутки, а воду ту с Ангары, с проруби таскают, и подстилку надо чистую, свежую, и прогулять хоть 2–3 часа в день, и беречь от падений, ударов, а когда начнется отел, перевести в специальное родильное отделение – так инструкция требует. Коров стало в десять раз меньше, инструкций – в десять раз больше. И от сквозняков надо беречь, чтобы не застудить корову, а скотные дворы пообветшали, поразвалились, кто за ними смотрит, если скота нет.

Колхоз уже третий год как строил молочную ферму, по-просту сказать, большой двухрядный коровник. Но строительство не двигалось, то одно мешало, то другое.

Стали в районе отчет составлять, оказалось, нигде молочных ферм не строят... Обходятся частными скотными дворами. Начальство, конечно, переполошилось: срыв развития животноводства, еще и расстрелять могут как за вредительство. И был дан приказ – к весне, к массовому отелу, фермы закончить во что бы то ни стало.

Иван Парфенович сформировал бригаду, во главе ее поставил Сашиного хозяина Савву Лукича, был он в прошлом хороший плотник, впрочем, в деревне каждый – плотник.

– Может, подмогнешь, – сказал Савва Лукич Саше, – трудодни на меня выпишут, а я тебе отдам.

– А как Иван Парфенович?

– Он и велел, – простодушно ответил Савва Лукич.

И стал Саша плотничать.

В бригаде их было шестеро: Савва Лукич, Саша и еще четыре мужика. Обтесывали бревна. Клади на перекладину, укрепляли с боков скобами, проходили шнуркой – веревкой, которую чернили хорошо обугленным на костре куском дерева, – на бревне остается след, по нему и тешешь топором. Обтесал обе стороны, зовешь мужиков, переворачиваешь бревно, закрепляешь и обтесываешь вторые две стороны, так и получают четыре канта, потом обтесываешь углы, бревно готово.

Савва Лукич посмотрел, прошелся вдоль бревна.

– Будешь тесать, пойдет.

– Парень молодой, яйца свежие, – посмеялись добродушно мужики.

Хотя и подмораживало крепко, работа была приятной. Стружки ложились возле бревна, пахло свежо, морозно. Мужики привозили каменные глыбы: здесь фундаменты не роют, на камень и кладут обвязку, просвет зашивают тесом, засыпают и опять покрывают тесом.

Саша обтесывал бревна для верхней и нижней обвязок, еще с одним мужиком пилил двухметровые бревнышки, в каждом бревнышке вырубали паз для сухого мха.

– Если бы не клин и не мох, плотник бы подох, – говорил Савва Лукич. Дома он был молчалив, мастерил что-то во дворе, а здесь, на работе, был разговорчив, прибаутничал.

Другие мужики готовили тес, доски, работали на продольных пилах – один наверху, другой внизу. Работали весело, без раздражения, даже если кто и повел не в ту сторону, испортил, переделывали спокойно, не ругались. Промахнулся, не попал по гвоздю или шипу, шутили:

– Насте своей небось сразу попадаешь.

Спать теперь Саша ложился рано, вставал вместе со стариком на рассвете. У старухи уже был готов для них завтрак, они ели и уходили на работу.

Изредка вечером заходил Всеволод Сергеевич.

Он как-то потускнел, хотя и пытался бодриться. Прихо-

дила к нему какая-то женщина из Кежмы, Всеволод Сергеевич суетился, готовил угощение, женщина была худая, рано состарившаяся.

Однажды Всеволод Сергеевич появился у их коровника, замахал бандеролью.

– Почта пришла! Я захватил ваши газеты и письма.

– Спасибо, дорогой!

Саша сдернул с рук кокольды – оленьи рукавицы с разрезом, удобные для работы зимой, снял исподни – шерстяные рукавицы под кокольдами, надорвал конверт, посмотрел на дату и тут же перевернул страницу: Варины приписки всегда шли в конце. В этом письме ничего от Вари не было. Он надорвал второй конверт, опять нет.

Третий. Наконец-то! Его охватывала радость, даже когда он видел ее почерк. Варя писала коротко: «У меня ничего нового. Живу, работаю, скучаю... Ждем тебя».

А что она еще может открыто написать ему? Ничего... Так же, как и он ей. Но ему достаточно и этих слов. Главное, она ждет его, ему осталось торчать в этой проклятой Мозгове уже меньше двух лет. Вот что главное! И после этого, дадут ему жить в Москве или не дадут, они все равно увидятся!

Улыбаясь, он рассовал по карманам письма.

– Всеволод Сергеевич, идите ко мне, посмотрите пока газеты, мы скоро придем.

Савва Лукич, добрая душа, золотой прямо-таки старик, свернул сигарку.

– Чё письма-то попрятал. Читай, читай.

– Потом посмотрю, – ответил Саша.

Стало смеркаться, кончили работу, сложили инструмент в ящик, запрятали меж бревен.

Дома Всеволод Сергеевич протянул Саше газету.

– Читайте!

– Подождите, дайте хоть раздеться.

Саша снял полушубок, шапку, положил на печь кокольды, рукавицы, переобулся, потом взял газету.

Постановление ЦИК СССР о терроре, опубликованное сразу после убийства Кирова, гласило:

«1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней. 2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде. 3. Дела слушать без участия сторон. 4. Кассационные обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать. 5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора».

– Это закон военного времени, – сказал Всеволод Сергеевич, – но ведь войны, кажется, нет. Никакая власть не смеет лишать обвиняемого права на защиту, а это постановление лишает подсудимого не только адвоката, но и возможности защищаться самому – если ему вручают обвинительное заключение за сутки, то он не готов к защите. Никто не смеет лишать обвиняемого права на кассацию, судьи могут ошибиться, никто не имеет права лишать обвиняемого надежды

на помилование, без милосердия не могут существовать государства. Постановление хуже законов военного времени, ведь речь в нем идет не о совершенном убийстве, а вообще о терроре против работников Советской власти, это понятие растяжимое – под террор можно подвести все, что угодно, под работником Советской власти можно понимать кого хотите, начиная со Сталина и кончая колхозным счетоводом, которого мужик угрожал прибить за обсчет в трудоднях. Это постановление о неконтролируемом уничтожении невинных и беззащитных людей. Это закон о массовом беззаконии.

Он покачал головой.

– Помните, что сказал Пушкин Гоголю, прослушав первые главы «Мертвых душ»? «Боже, как грустна наша Россия». Что же можно сказать после такого постановления? «Несчастливая Россия»?! И заметьте, какая оперативность: 1 декабря убили Кирова – и уже готов и опубликован новый закон. Как это вам, а?

– Я вам не рассказывал, Всеволод Сергеевич, о своем следователе. Дьяков его фамилия. Такой сухарик в очках. Редкостная сволочь. Шил мне дело. И, знаете, обижался, когда я не подписывал протокол, надувал губы: «Вы не хотите разоружаться перед партией». Дерьмо! Почему я о нем вспомнил? Да... Выйди такое постановление года полтора назад, он мог бы и мне предъявить обвинение в терроре. Логика простая. Почему в праздничном номере стенгазеты вы не упомянули имени товарища Сталина? Потому что вы про-

тив товарища Сталина. Вы не хотите, чтобы он руководил страной. А как вы можете его устранить? Только убив. Ах, вы никогда не говорили об этом? Еще бы, о таких вещах не распространяются.

Но вы вынашивали это намерение и при благоприятных обстоятельствах его бы осуществили. Вы потенциальный террорист, ваши друзья – потенциальные террористы, все вместе вы – террористическая организация. Значит – суд без защитника, приговор без права обжалования, расстрел через час после суда.

– Да, – согласился Всеволод Сергеевич, – вам в этом смысле повезло.

Саша усмехнулся.

– Выходит, я просто счастливчик. Не выпить ли нам по этому поводу?

– Не возражаю. Кстати, я вам объясню, почему вы действительно счастливчик...

У Саши было немного спирта, хозяйка нарезала копченого хариуса, захлопотала у печи.

Саша перечитывал письма, Всеволод Сергеевич просматривал газеты.

– Что делается, Саша... Повсюду суды, массовые расстрелы, из Ленинграда выслали тысячи дворян, бывших буржуев, детей бывших дворян, детей бывших буржуев – а они за что? А народ?! Народ безмолвствует? Что вы?! Народ не безмолвствует, народ требует расправы. От Владивостока до Одессы

митинги: разоблачить, уничтожить, расстрелять! И партия не молчит! Коммунисты каются, бьют себя в грудь, признают свои ошибки: не досмотрели, не доглядели. Но не помогает. Эти покаяния считаются недостаточными, неискренними.

Хозяйка вынула из печи чугунок с картошкой.

Саша позвал к столу Савву Лукича. Сели. Выпили по рюмке, закусили, налили по второй.

– Так почему же я счастливчик? – спросил Саша.

– Потому, что вы находитесь в Мозгове, – сдирая шкурку с рыбы, ответил Всеволод Сергеевич, – вы живете в стерильной обстановке. Будь вы на свободе, вы тоже должны были бы участвовать в этих митингах, требовать расстрела, уничтожения.

– Мог бы и не участвовать.

– Работая на предприятии, вы от митинга никуда бы не ускользнули, вместе со всеми голосовали бы за расстрел, потянули руку вверх, потому что, если бы не потянули, тут же с собрания вас увезли бы куда следует.

– Ну а вы как бы поступили?

– Я? Мне это не грозит. Пока существует Советская власть, мне другой дороги нет: ссылка – лагерь – тюрьма – опять лагерь – опять тюрьма. А проводить такие митинги в лагерях или тюрьмах, я надеюсь, они не додумаются. В тюрьме или в лагере за это руку никто не потянет.

– Но, теоретически, кончился срок, вы живете в каком-то городке, у вас на работе митинг, требуют расстрела врагов,

все за это голосуют, а вы будете голосовать?

Всеволод Сергеевич молча сдирал и сдирал шкурку с хариуса.

– Ну так как?

– Не знаю, Саша, честно говорю, не знаю. На этих митингах есть люди, которые искренне верят в то, что им вдалбливают в головы. А кто не верит, те помнят о своих малолетних детках.

– У вас деток нет.

– Вероятно, и я поднял бы руку. Потому что мой единственный голос ничего не изменит, плетью обуха не перешибешь, если я один пойду на плаху, ничего не изменится, их все равно расстреляют и меня заодно с ними. А они признаются, каются, почему я должен погибать за таких слабых людей? Они, коммунисты, сами посылали людей на смерть, теперь их посылают, почему я должен их защищать?

– Но ведь вы говорили, что высылают бывших дворян, бывших буржуев и их детей. Дети-то никого не посылали на смерть. Их-то надо защитить.

Всеволод Сергеевич наконец дочистил рыбу, откусил.

– Хорошая рыба, замечательная рыба. Вы поднимаете серьезный вопрос, Саша, серьезный и актуальный. Но он актуален для вас, Саша, а не для меня: передо мной такой дилеммы никогда не встанет – я на другой орбите. А вы, Саша, на той самой орбите, по которой кружится это государство, вы на их орбите, и вам с нее не сойти, и эта проблема перед

вами встанет.

– Ну что ж, – сказал Саша, – когда она передо мной встанет, тогда я буду ее решать. Но ваше решение меня не устраивает.

– Я отказываюсь от своего решения, как от необдуманного, – сказал Всеволод Сергеевич, – просто я говорил о том, как поступил бы на моем месте любой разумный человек: он поднял бы руку, он поступил бы так, как поступают все. В этом трагедия России, в этом трагедия русского народа.

– А как же «особое предназначение народа», а как же его «особая миссия»? Как же его «христианское, православное начало»?

– Саша, вы хотите такими примитивными вопросами опровергнуть нашу... или, скажем так, мою философию?

– Я не философ, – возразил Саша, – но я прихожу к убеждению, что ни у какого народа нет мессианской роли, мессианского назначения. Нет сверхнации, нет сверхнародов, есть люди: хорошие люди, плохие люди. И нужно создать общество, при котором никакие силы не могли бы заставить их быть плохими.

– Всякая идея о совершенном обществе – это иллюзия.

– Да, совершенного общества нет и вряд ли может быть. Но общество, которое стремится стать совершенным, это уже прекрасное общество, – сказал Саша.

– Что-то не видно, чтобы наше общество к этому стремилось. Общество – это люди, а мы их превращаем в нелюдей. –

Всеволод Сергеевич встал. – Пойду. Завтра вам на работу. Видите, даже плотничать вам доверили, а мне и этого нельзя.

Саша засмеялся, показал на хозяина.

– У меня протекция. Савва Лукич помог.

– А чего не помочь? – сказал Савва Лукич. – Кончать надо работу-то. Начальство велит.

– Вот и взяли бы меня.

– Ты человек умственный, ученый, тебе наша работа нехороша покажется.

Всеволод Сергеевич ушел.

Саша перечитал мамины письма, снова просмотрел Варинины приписки – короткие, сдержанные, но даже в них находил он тайный смысл. «Живу, работаю, скучаю... Ждем тебя».

И он писал ей так же коротко: «Милая Варенька, когда я получаю почту, то сразу же смотрю, есть ли что-нибудь от тебя». Может быть, и она что-то увидит за его словами. Большого он не мог себе позволить. В Москве он не выказывал ей особого интереса, сейчас такой интерес может показаться лишь тоской по воле, по знакомым, просто по женщине. Саша не хотел быть ложно понятым.

Может быть, написав: «Как бы я хотела знать, что ты сейчас делаешь?» – она и повела себя более смело, более решительно, а может быть, он это придумал, просто хотела поддержать его: добрая девочка с добрым сердцем. «Живу, работаю, скучаю... Ждем тебя». Конечно, что-то за этим все-таки есть... Что бы там ни было, но и этих скупых ее припи-

сок он дожидался с волнением. Варина твердая уверенность в будущем обнадеживала и его.

Мамины письма были спокойны, он просил ее поискать в ящиках письменного стола его институтскую зачетную книжку и шоферские права (при обыске их не забрали) и, если найдет, пусть сохранит до его приезда, они ему понадобятся. Написал единственно для того, чтобы успокоить ее, уверить в своем скором возвращении, укрепить в ней надежду на свое освобождение. Сам он на освобождение не надеялся. Попросил также прислать некоторые свои книги о Великой французской революции. Он много занимался ее историей в школе, собирал книги, хотел перечитать. И еще написал, что работает на строительстве молочной фермы, работа приятная, платят хорошо, хватает на еду и жилье, так что денег ему высылать не надо.

Он долго писал письмо. Даже старуха с печи ему сказала:
– Зачем глаза маешь? Стели постелю, ложись.

– Завтра обратная почта пойдет, – ответил Саша, – надо дописать.

Он поздно лег и проснулся, когда Савва Лукич уже завтракал.

– Я мигом, Лукич!

Саша быстро оделся, умылся, принялся за яишню – она уже стояла на столе.

Старик вышел во двор.

– Иди, – сказал ему вслед Саша, – я тебя бегом догоню.

Савва Лукич тут же вернулся.

– Кошевка с милицией...

– К нам?

– Кто знат?

Ничего не собрано, ничего не готово. Саша метнулся было к письмам – не хотел, чтобы их трогали чужие руки, но он ничего не успеет собрать. Ладно, подождут, никуда не денутся.

Вот и все. Кончается жизнь на Ангаре. Где, в каком лагере она будет продолжаться? Наверно, никогда он больше не увидит маму, не увидит отца, не увидит Варю. Он вынул папиросу из пачки, закурил. Посмотрел в окно, оно заиндевелело, ничего не видно. Прислушался. И скрипа полозьев не слышно.

Хлопнула калитка. Открылась дверь – вернулся Савва Лукич.

– Пронесло, Саня, – он перекрестился, – слава те Господи.

– Куда поехали?

– За тот угол завернули.

«Тот» означало второй угол, первый угол назывался «этот». За кем же? За Масловым, наверно.

– Лукич, я туда забегу, а потом на работу.

– Иди, иди, – сказал старик, – не торопись, управимся.

Кошевка ждала у дома, где жил Маслов. Тут же стояли Всеволод Сергеевич и Петр Кузьмич.

И только Саша подошел, в дверях показался Михаил Ми-

хайлович Маслов с чемоданом в руке и рюкзаком за плечами. Когда успел собраться? Неужели жил с приготовленным чемоданом?

Впереди Маслова шел милиционер с винтовкой и сзади милиционер с винтовкой, высокий прямой парень с презрительно сжатыми губами.

Маслов положил чемодан в сани, снял с плеча и туда же положил рюкзак, повернулся к Всеволоду Сергеевичу. Они обнялись, поцеловались. И с Петром Кузьмичом обнялся и расцеловался. Саше протянул руку. Саша пожал ее, посмотрел Михаилу Михайловичу в глаза, спросил:

– Вы ничего не хотите передать Ольге Степановне?

– У Всеволода Сергеевича есть адрес, он напишет. – И, подумав, добавил: – Спасибо, что вспомнили...

Саша пошел на стройку. Мужики на нижнюю обвязку ставили брусья через каждые два метра, отделяя одно стойло от другого. Ставили в «шип», чтобы создать жесткую конструкцию. Работа красивая, точная. Саша поражался, как все это делается такими немудреными инструментами: топор, пила и ножовка, долото, стамески, рубанок, фуганок, скобелка; как достигается такая точность с помощью отвеса уровня-ватерпаса.

И он мог бы делать такую работу, но сегодня запоздал и его опять поставили тесать бревно для верхней обвязки.

– Проводил товаришша? – спросил Савва Лукич.

– Проводил.

– Куда его угнали-то? – поинтересовался смуглый, горбоносый, сухопарый мужик Степан Тимофеевич.

– Кто знает, – ответил Саша.

– Может, срок вышел, – сказал Савва Лукич.

– На волю, значит? – усмехнулся Степан Тимофеевич. – На волю с милиционером не отправляют.

– В Кежме мужики толкуют – убили кого-то из начальства, в газетах пишут, – сказал другой мужик, его тоже звали Степан, но не Тимофеевич, а Лукьянович, – а убил его троцкист, что против колхозов, чтобы, значит, распустить колхозы энти.

– А куды их теперича распускать, – усмехнулся Степан Тимофеевич, – чего раздавать-то? Чем наделять? Все порушили...

– Ну, ладно, – Савва Лукич опасливо посмотрел по сторонам, – ты того, не больно-то, значит.

– Чего не больно-то?!

– А то, что все, значит, от Бога, – сказал Савва Лукич, – как Господь Бог устроил, так, значит, и идет.

– Бог, Бог, все на Бога валите, – желчно ответил Степан Тимофеевич, – где она, ваша церква? Бог за тебя ничего не сделает, коровник ентот срубит тебе Бог? Коров губим, коровник рубим.

– А ты не руби, – сказал третий мужик, Евсей, как его по отчеству, Саша не знал, звали его просто Евсей, иногда прибавляли неприличную рифму.

– Куды уйдешь от ентого? – злобно ответил Степан Тимофеевич. – Вот, – он показал на Сашу, – кончат срок – уедут хоть куда. А нам, хрестьянам, никуда дороги нет. Беспашпортные мы. Держат на одном месте – не шевелься!

– Какая змея тебя донимат?! – сказал Савва Лукич. – Услышит кто, разбазланит, знаешь, чего от этого бывает?

– Знаю, – угрюмо ответил Степан Тимофеевич, – оттого и погибаем, что молчим, уду съели.

– Наше дело работа, весь уповод проговорили.

Действительно, приближался полдень. И они снова принялись за работу.

Мужики хотят поговорить, но, видно, Саша им мешает – чужой человек, при чужом человеке лучше держать язык за зубами...

Через неделю-другую вызвали в Кежму Петра Кузьмича, через сельсовет приказали: явиться такого-то числа.

– Может, отпускают, а? – Он заглядывал в глаза Саше и Всеволоду Сергеевичу. – Срок-то мой еще в ноябре кончился.

– А чего же вы тут сидели, если кончился? – спросил Саша. – Напомнили бы.

– Опасно напоминать, Александр Павлович, напомнишь, а они тебе новый срок пришьют... Ведь не увезли меня, как Михаила Михайловича. И статья у меня не политическая.

– Не политическая! – усмехнулся Всеволод Сергеевич. – Экономическая контрреволюция, ничего себе статейка. Ладно, отправляйтесь в Кежму – узнаете и нам потом расскажете.

Петр Кузьмич ушел в Кежму, Всеволод Сергеевич сказал Саше:

– А ведь могут и отпустить – машина бюрократическая... Срок вышел, никаких распоряжений нет, черт его знает, посмотрим!

К вечеру вернулся Петр Кузьмич, радостный, возбужденный. Освобожден! Показал бумажку. «За отбытием срока заключения... подпадает под п. II Постановления СНК о пас-

портной системе». Значит, минус – не может жить в больших городах.

– А зачем мне большие города, – возбужденно говорил Петр Кузьмич, – не нужны мне большие города. Родился я и вырос в Старом Осколе, там жена, дочери, родня. Там и буду жить.

– Деньги на проезд у вас есть? – спросил Саша.

– Доберусь... До Кежмы с почтарем договорился, только вещички положит – десятка. Билет до Старого Оскола, думаю, рублей, наверно, 25–30. В общем, в полсотни уложусь. Полсотни у меня найдется.

– А пить, есть...

Петр Кузьмич махнул рукой.

– С голоду не помру. Сухарей хозяйка засушит, рыбки вяленой даст, яичек, кипяток на станциях бесплатный... Не беспокойтесь, доберусь.

На другой день с попутной колхозной подводой Петр Кузьмич уехал в Кежму. Всклипнул, прощаясь с Сашей, со Всеволодом Сергеевичем, – стыдился своей удачи.

– Бог даст, и с вами все обойдется.

– Бог даст, Бог даст, – ласково-насмешливо повторил Всеволод Сергеевич, – живите там спокойно, лавку не заводите!

– Что вы, Всеволод Сергеевич, – старик отпрянул в испуге, – какая лавка по нынешним временам. Возьмут продавцом – спасибо!

– Идите лучше в сторожа, – сказал Всеволод Сергеевич.

– Это почему же?

– В магазине материальная ответственность, в случае чего придерутся. А в сторожах – сидите в шубе, грейтесь...

– Нет уж, Всеволод Сергеевич, как же можно? Я свое дело с детства знаю, я еще пользу могу принести.

Последние слова он произнес, уже взобравшись в сани... Вozчик дернул вожжами, лошади тронулись.

– Прощайте, дай вам Бог! – крикнул Петр Кузьмич.

– Ничего не понял человек, – мрачно произнес Всеволод Сергеевич.

Освобождение Петра Кузьмича немного приподняло настроение. К тому же вскоре пришло известие: в деревне Заимка освобожден ввиду окончания срока отец Василий. Значит, не всеобщая акция, а частичная, не всех чохом, а с разбором.

Однако еще через неделю к коровнику прибежала девчонка и, став против Саши, сказала:

– Севолод Сергеич тебя кличут.

Девчонка эта была дочерью хозяйки Всеволода Сергеевича. Саша сразу понял: Всеволода Сергеевича отправляют.

Саша застал его бодрым, деятельным, собирающим вещи. Раньше он томился в неизвестности, в ожидании, теперь все решилось – опять дорога; теперь он твердо знал, что его ждет; для того, что его ждет, нужны силы, нужно быть готовым ко всему.

– Вам приказано явиться? – спросил Саша.

– За мной приедут из Кежмы. А в Кежме, видимо, последний этап на Красноярск. Вы в него не попали – это вселяет надежду. Впрочем, этапов еще будет много, Саша, так что будьте готовы ко всему... Это вам, – Всеволод Сергеевич указал на пачку книг, – вы не большой любитель философии, но тут есть интересные книжонки, а мне их тащить с собой... Да и все равно отберут... Вас отправят – оставьте кому-нибудь, в крайнем случае бросьте.

– Спасибо, – сказал Саша, – чего вам не хватает для дороги?

– Вроде все есть.

– Ничего у вас нет, – сказал Саша, – белья теплого нет?

– Я к теплему не привык, хожу в обычном. Да и зима кончается.

– У меня фланелевое есть – две пары. Носки шерстяные, лишний свитер, возьмите.

– Саша, ничего не надо... Уголовные все отберут.

– До Красноярска не отберут... Перчатки я ваши видел, в них по Невскому разгуливать.

– Нет, перчатки мои еще хороши...

– Я вам дам верхонки, хорошие лосиные рукавицы, натяните на свои перстянки – тепло будет. Обувь?

– Обувь у меня прекрасная, видите, валенки подшитые. Хватит, Саша... Все есть. Денег нет. Но теперь государство берет меня на свое иждивение.

– Откуда вы знаете, что за вами приедут?

– Знаю, – коротко ответил Всеволод Сергеевич.

Вещей у Всеволода Сергеевича оказалось немного – один туго набитый заплечный мешок.

– Вот и собрал.

Всеволод Сергеевич присел на лавку.

– Что я вам хочу сказать, Саша, на прощание. Мне грустно расставаться с вами, я полюбил вас. Хотя, как теперь говорят, мы с вами по разные стороны баррикады, но я вас уважаю. Уважаю не за то, что вы не отступились от своей веры – таких, как вы, еще много. Но ваша вера не похожа на веру других – в ней нет классовой, партийной ограниченности. Вы, сами не сознавая, выводите свою веру оттуда, откуда выходят все истинные идеалы человеческие. И это я в вас ценю. Но я старше, опытнее вас. Не превращайтесь в идеалиста. Иначе жизнь уничтожит вас или, это еще страшнее, сломает вас, а тогда... Простите меня за прямоту: идеалисты иногда превращаются в святых, но чаще – в тиранов и охранителей тиранства... Сколько зла на земле прикрывается высокими идеалами, сколько низменных поступков ими оправдывается. Вы не обижаетесь на меня?

Саша усмехнулся.

– Что вы, Всеволод Сергеевич! Разве можно обижаться? Скажу только одно: я не идеалист в вашем понимании. Я идеалист в моем понимании: нет ничего на свете дороже и святее человеческой жизни и человеческого достоинства. И тот,

кто покушается на человеческую жизнь, тот преступник, кто унижает человека в человеке, тот тоже преступник.

– Но преступников надо судить, – заметил Всеволод Сергеевич.

– Да, надо судить.

– Вот уже слабинка в ваших рассуждениях. А судьи кто?

– Не будем входить в дебри вопроса. Я повторяю: самое ценное на земле – человеческая жизнь и человеческое достоинство. Если этот принцип будет признан главным, основополагающим идеалом, то со временем люди выработают ответ и на частные вопросы.

Всеволод Сергеевич прислушался. У дома раздался скрип саней.

– Так, это за мной.

– Задержите их, я сейчас вернусь, – сказал Саша.

Он выскочил из дома, у крыльца стояла кошевка, в ней возчик и милиционер.

Саша прибежал домой, схватил пару фланелевого белья, свитер, верхонки, вернулся к Всеволоду Сергеевичу.

– Ну зачем вы все это? – поморщился Всеволод Сергеевич. – Смотрите, «сидор» мой набит.

– Ничего, втиснем, открывайте!

Они сложили все в мешок.

– Да, – сказал Всеволод Сергеевич, – вот адрес Ольги Степановны, город Калинин. Я письмо написал, надеюсь послать из Красноярска. Но там, может быть, привезут прямо в тюрь-

му. Поэтому напишите вы ей – из двух писем одно дойдет наверняка.

Саша положил бумажку с адресом в карман.

Милиционер и возчик кончили пить чай, вышли на улицу.

Всеволод Сергеевич оделся, взял мешок, опустил его на пол.

– Ну что же, попрощаемся, Саша.

Они обнялись, расцеловались.

Всеволод Сергеевич зашел на кухню, попрощался с хозяйками и вышел на улицу, положил мешок в сани.

В дверях стояла девчонка, дочь хозяйки, в накинутой на плечи шубейке.

– Ну, еще раз!

Всеволод Сергеевич и Саша расцеловались.

Всеволод Сергеевич сел в сани, укрыл ноги полостью, весело проговорил:

– Тронули, что ли!

Сани заскрипели...

Саша стоял, смотрел им вслед, пока они не скрылись за углом.

И девочка стояла в дверях, смотрела.

Ссылных в Мозгове осталось только двое: Саша и Лидия Григорьевна Звягуро.

А на Арбате жизнь продолжалась по-прежнему, будто не было ссылок, тюрем, лагерей, не было заключенных.

Знакомые заключенных, знакомые этих знакомых жили, как и жили. О них, о рядовых тружениках, об их славных делах писали в газетах, сообщали по радио, говорили на собраниях.

О таких, как Саша Панкратов, тоже писали в газетах, сообщали по радио и говорили на собраниях, но как о врагах, которых надо уничтожить. И тех, кто им сочувствует, тоже надо уничтожить.

Так как никто не хотел быть уничтоженным, то никто не выражал сомнения в том, что надо уничтожать людей, суда над которыми не было и о вине которых узнавали из коротких газетных сообщений.

Безопаснее было вообще о них не говорить. Лучше говорить о другом. Например, об отважных полярных летчиках, вывозивших в прошлом году со льдин Ледовитого океана экипаж потерпевшего кораблекрушение парохода «Челюскин». А если и приходила кому-нибудь в голову мысль, что спасение из тюрем невинных людей не менее важно, чем спасение «челюскинцев», то вслух эту мысль не высказывали.

Юрий Денисович Шарок носил теперь шпалу – старший

оперуполномоченный – и подчинялся непосредственно начальнику первого отделения Александру Федоровичу Вутковскому и его заместителю Штейну.

Вутковский и Штейн ценили Шарока: серьезный, добросовестный, исполнительный работник. И перспективный. Перспективным считался здесь тот, кто мог не только «расколоть» подследственного, не только заставить его признать собственную вину, но, что главное, вывести его на связи, создать не единичное, а групповое дело. Члены группы, в свою очередь, выведут следствие на новые связи. Таким образом, создается задел, обеспечивающий непрерывное функционирование карательных органов.

Шарок это усвоил хорошо, усвоил и много других истин, в частности ту, что не надо цепляться ни за чей хвост. Березин к нему благоволил, но Шарок держался на расстоянии. И правильно. Березин загремел на Дальний Восток. И работников его рассовали кого куда. Так что ходишь по острию ножа. Сохраниться здесь можно только величайшей осторожностью. Тем более отделение их самое актуальное. Во втором отделении – меньшевики, бундовцы, анархисты, в третьем – всякие национальные движения – мусаватисты, дашнаки и тому подобное, в четвертом – эсеры, в пятом – церковники. Тихие отделения, какие теперь меньшевики и эсеры... Шарок с удовольствием бы туда перешел. Как-то ему представилась возможность перейти на церковные дела, но он после некоторого колебания отказался. Не хотел связываться с

Господом Богом. Шарок не верил в Бога. Но к богомольности матери относился терпимо – ее дело. Да и черт его знает! Верят же в Бога образованные люди, академик Павлов, например. Ученый с мировым именем, а завел церковь в Колтушах, бьет поклоны. Правительство между тем его ласкает, сам товарищ Сталин относится с уважением.

Бог не Бог, а что-то необъяснимое существует. Судьба, что ли... Как он горевал тогда, в октябре 1934 года: из-за дерьмового аппендицита не поехал в Ленинград, к Запорожцу. А поехал бы – трубить ему сейчас в лагере.

* * *

Юра тогда вернулся с работы, как обычно, под утро, и часов в семь, наверно, его скрутило. Боли были непереносимые, тело будто разламывало пополам, ни вздохнуть, ни выдохнуть, на правый бок ложился, на левый, подтягивал ноги к груди, ничего не помогало, не мог сдержать стона.

Мать металась по комнате: «Может, грелку поставить?» Слава Богу, отец еще не ушел на работу, догадался, в чем дело, не разрешил ставить грелку, сказал: «Будем вызывать карету «скорой помощи». Юра отказывался: карета «скорой помощи» наверняка увезет его в больницу, а ему вечером «Красной стрелой» ехать в Ленинград к Запорожцу, из больницы могут не отпустить, и накроется поездка, пропадет Ленинград, опять ему ходить под Дьяковым.

– Давай телефон, – настаивал отец.

– Не надо звонить, сейчас пройдет.

– Не дашь свою «скорую», вызову городскую.

Юра попытался сесть на постели, застонал, повалился на подушку, нет, терпеть невозможно, «скорая» хоть укол сделает, и боль пройдет. Он показал, откуда достать записную книжку. Через полчаса пришла машина, Юру вынесли на носилках, весь дом глядел, весь подъезд переполошился. Привезли на Варсонофьевский, в больницу НКВД, сразу положили на стол, прооперировали. Сказали, шов снимут дней через десять. Все! Накрылся Ленинград! Как горевал тогда, как горевал, а выходит, аппендицит спас его. Вот и не верь после этого в судьбу.

– Ваше счастье, вовремя привезли, а еще часа два-три, и был бы перитонит, – сказал профессор Цитронблат, делавший ему операцию. Лучший хирург, и что интересно: с протезом вместо ноги.

Но, как оказалось, не только в том было счастье, что от перитонита спасли, главное – не поехал в Ленинград.

Дня через два после операции принесли ему пакет с фруктами – апельсины, мандарины, яблоки – и записку: «Юрочка, как ты себя чувствуешь? Что тебе надо, напиши. Лена».

Юра опустил записку. Лена пришла! Пришла все-таки! Уставший, измученный болью, он расчувствовался, даже в горле запершило. Значит, любит его, если все простила, не ревнует больше.

Правда, мелькнула и неприятная мысль: а может, это их интеллигентские штучки?.. Что бы ни было в прошлом, надо в трудную минуту прийти на помощь, проявить внимание, сочувствие. Так принято у приличных людей, ведь они приличные люди... Никто к нему не пришел, а она пришла. Только Вутковский Александр Федорович звонил, справлялся о здоровье, но он начальник, ему положено проявлять заботу о подчиненных. Ну и мать, конечно, приходила. Принесла какую-то бестолковщину, пироги, дура, испекла, хоть бы у врача спросила, что можно, чего нельзя. А ему тут ничего и не нужно, кормят хорошо, центральная больница НКВД все-таки... А Лена по-интеллигентному: мандарины, апельсины – не еда, не пироги с гречневой кашей, а знак внимания.

И все же не из приличия она явилась! Не может забыть его. Такие, как она, не забывают. И таких, как он, тоже не забывают. Не хлюпик. Мужчина!

– Пишите ответ, – сказала сестра.

– Трудно писать... Пусть зайдет на пару минут.

– В палату нельзя. Начнете ходить, выйдете в коридор, у нас тут зальчик есть для посещающих. Потерпите.

На обороте Лениной записки Юра написал:

«Леночка, спасибо за передачу. Мне ничего не надо, все есть, не беспокойся. Хочется повидаться. Через два дня мне позволят ходить, и я выйду к тебе. Приходи...»

И, подумав, дописал: «Целую».

Через два дня Юре позволили вставать, в тот же день пришла Лена.

Они сидели в небольшом холле неподалеку от Юриной палаты. У Лены на плечи был наброшен белый халат с болтающимися завязками, под халатом синий костюм, белая блузка, на ногах высокие боты, обтягивающие полные, сильные ноги. Никогда он не мог равнодушно смотреть на ее ноги, и запах ее духов волновал... Красивая, здоровая, сияющая, а он в уродливом фланелевом халате, под халатом нижнее белье, на ногах шлепанцы, небритый.

– Узнала меня, – усмехнулся Шарок, – я, наверное, похож на покойника?

– Не преувеличивай, – улыбнулась Лена, – немного бледный, это естественно в больнице. Сколько тебя здесь продержат?

– Недели две-три.

– Не горюй, я буду тебя навещать.

Хорошая все-таки баба! Чужая, но хорошая, годится! Добрая, ласковая, любит его, он это видит, опять на все готова ради него, и тем не менее есть какая-то точка отталкивания, так, что ли, это называется по-научному. Именно ее доброта, ласковость, порядочность, деликатность, все, что так приятно в ней, противопоставлено ему – он не может быть с ней откровенен, не может быть таким, каков есть на самом деле.

С Викой – поблядухой – он мог бы быть откровенным, ко-

нечно, будь она не стукачкой, а женой. С ней можно было бы говорить начистоту, выложить всю подноготную без всяких там цирлих-манирлих, и поняла бы, и совет хороший дала. А с Леной нельзя. Нужно приспособливаться к ее представлениям о морали и нравственности. А какая мораль и нравственность в его деле, в его жизни, да и существуют ли они вообще?

Какая мораль и нравственность у ее отца, уважаемого Ивана Григорьевича Будягина? Скольких людей он перестрелял, будучи председателем Губчека? Какой моралью руководствовался, отправляя людей на тот свет? Интересами пролетариата? А кто определил эти интересы? Партия? Ленин? Прекрасно. И он, Шарок, тоже руководствуется интересами пролетариата, только определяет их теперешний вождь партии – товарищ Сталин. Но объяснять все это Лене бессмысленно. О людях он должен говорить, как и она, уважительно, о преследуемых тоже, как и она, с сочувствием. Сказал однажды что-то поперек, она не возразила, но посмотрела испуганно, испортила ему настроение.

В постели баба горячая, покорная, притягивает к себе, не оторвешься. Все это так, но и поговорить ведь с кем-то надо... Какой толк из того, что она таскается к нему в больницу каждый день?

Ему бы выложить ей все, что его волнует, погоревали бы вместе, что сорвался Ленинград, прикинули бы, кто из ребят мог попасть на его место в команду Запорожца. А вместо

этого они болтают о какой-то чепухе, говорит он не то, что думает, все время настороже, как бы не сказать не то слово, как бы не увидеть ее испуганные глаза, это тяготило Шарока. Но и порывать не хотелось...

Шарок выписался из больницы, и их встречи снова возобновились от случая к случаю.

Юра работал по ночам, Лена работала днем. Да и встречаться было негде: квартира дяковской Ревекки отпала, хватит с него того провала с Викой. Пару раз они съездили на дачу к Лене в Серебряный Бор, дача зимой отапливалась, но по выходным кто-то приезжал и на каникулах жил Владлен, катался на лыжах.

Как-то Юра позвонил ей вечером с работы. Она обрадовалась, спросила, как дела.

– Устал как собака, возился тут с одним сукиным сыном.

Она, конечно, тут же замолчала. Чистоплюйка. Принцесса. Не то сказал, видите ли, не для их нервов такие слова. Он измотан, как мочалка, не может же он взвешивать каждую фразу.

– Ладно, не думай о наших заботах. Расскажи о своих.

– У меня ничего, все по-прежнему.

– Я тебе просто так позвонил, – сказал Шарок, – давно не слышал твой голос. Как майские проведем?

– А сколько ты будешь свободен?

– Два дня.

– И я два дня. Давай поедem куда-нибудь.

– Куда?

– Придумаем... У нас три недели впереди.

– Добро, – сказал Шарок, – давай думать.

Это были два упоительных дня. Специально поданный автобус привез их в подмосковный закрытый санаторий для научных работников.

– Как достала путевки? – спросил Юра.

Лена ответила уклончиво:

– Какая разница.

Но когда предъявляла талоны администратору, Юра увидел, что выписаны они на фамилию Будягина. Понятно, папаша расстарался для доченьки.

Дом шикарный, но ни одного знакомого лица вокруг, а Лена здоровалась со многими. Назвала Юре несколько фамилий – ученые, есть среди них и академики, приехали с женами и детьми провести два дня Первомайских праздников.

Им дали небольшую комнату, окна выходили в березовую рощу. Ветки на деревьях еще голые, но уже были как бы окутаны еле заметным светло-зеленым облачком, значит, листья вот-вот проклюнутся из почек.

– Только весной у берез бывают такие белые стволы, – Лена посмотрела на Юру, – ты не замечал?

Нет, он не замечал.

– Я уже и не помню, когда последний раз был за городом.

Из-под прошлогодних листьев высывалась молодая

травка, дни стояли прекрасные, солнечные, теплые, но лес еще не просох, под ногами хлюпала вода, тропинки влажные. Все ходили без пальто, женщины закатывали рукава на платьях, холеные, породистые бабы.

Играли в волейбол, в крокет, Шарок крокет видел впервые, старомодная игра, смешно было смотреть, как солидные академики и их дамы спорят и ссорятся из-за каких-то непонятных Юре правил: дотронулся до шара – не дотронулся, прошел ворота – не прошел. И те, кто наблюдал за игрой, тоже вмешивались в эти споры, игравшие вежливо, но твердо и даже язвительно просили не мешать им.

В общем, на крокетной площадке было довольно забавно. Юра смотрел, как играла Лена, улыбался ей, когда они встречались глазами. На вид такая далекая от спорта, большая, медлительная, она, как убедился Юра в Серебряном Бору, прекрасно плавала, здесь хорошо играла в крокет и в волейбол хорошо играла. Молодец, спортивная баба, оказывается. Веселая, глаза блестят, была внимательна к Юре.

Они уезжали на второй день к вечеру. После обеда прилегли... И, когда наступила пора вставать, она, лежа на его руке, спросила:

- Хорошо было здесь, правда?
- Да, подходяще, – в полудреме ответил он.
- А ведь мы с тобой расстаемся, Юра, – сказала она спокойно. И, как показалось Юре, даже улыбнулась.

До него не сразу дошел смысл ее слов.

– Не понимаю.

– Я говорю, что мы с тобой расстанемся, Юра, и на этот раз навсегда.

– Почему вдруг?

– Это не вдруг. Это я решила не сегодня. Но я хотела с тобой расстаться хорошо, даже счастливо.

– Поэтому и привезла сюда?

– Поэтому и привезла.

– Ну что ж, красиво, элегантно, по высшему классу. Королева, так сказать, отстраняет своего фаворита. И все же хотелось бы знать причину.

– Причину? – Она откинулась, легла на спину, заложила руки за голову. – Стоит ли называть причину... Мы с тобой не дети уже, не юные влюбленные. Такие встречи по телефонному вызову не для нас... Не думай, это я не к тому, чтобы мы поженились.

– А почему?.. Может быть, я хочу жениться на тебе. Она засмеялась.

– Может быть, ты хочешь. А я, может быть, не хочу.

Да он и не собирался жениться на ней. Смешно говорить об этом. Но самолюбие его было задето.

– Чем же я не подхожу тебе, интересно?

– Ты мне подходишь, и я тебе вроде бы подхожу. Но это здесь, на этой или какой-нибудь другой постели. Но постель – это еще не вся жизнь.

– Ты что, опять заревновала к Вике?

– А откуда ты знаешь, что я ревновала к Вике, я тебе на этот счет ничего не говорила.

– Ты не говорила, а я знаю, мне все положено знать. – Эту фразу Шарок любил вставлять к месту и не к месту.

– Ну так вот: и я знаю. Знаю, зачем и в качестве кого Вика приходила на ту квартиру.

Теперь он приподнялся на локте. Что-то тут неясно, пахивает неприятным. Она знает, что Вика была осведомительницей. Откуда знает? Не призналась ли сама Вика? Тогда у него прокол.

– В качестве кого же она ко мне приходила?

– Я не желаю обсуждать эту тему.

Он услышал в ее голосе металлическую будягинскую твердость.

– Мне эта тема не интересна. И от меня это никуда дальше не пойдет. Так что не беспокойся: никакого вреда я тебе никогда, ни при каких обстоятельствах не причиню. Это ты прекрасно знаешь. Да, когда я увидела Вику у тебя, я возмутилась и порвала наши отношения. Но потом поняла, что была не права. Так что тот случай не имеет сейчас никакого значения. Почему мы расстаемся? Не хотела говорить, но, если ты настаиваешь, скажу: я опять беременна, Юра. Я жду ребенка. И, как ты, вероятно, догадываешься, больше никакой горчицы не будет. У меня родится сын или дочь. Я тебя ни к чему не принуждаю. И алиментов с тебя не потребую, и отцом тебя не запишу – я знаю, ты этого не хочешь.

Ничего себе новости! Даже не так поразило само это известие, как ее спокойный, властный голос.

– Почему, собственно говоря?.. – начал Шарок.

Но она перебила его:

– Не возражай! То, о чем мы говорим, не повод для словоблудия.

Она не повысила голос, но в нем опять слышалась их, будягинская, категоричность.

– Этот брак не нужен нам обоим, зачем же притворяться?

Шарок встал, подошел к окну, раздвинул шторы, долго стоял так.

Правильно все. Он ей не нужен, и она ему не нужна. Войти в чужую семью, вечно жить с внутренним напряжением, обдумывать каждую фразу – это исключено.

Но его поразило, когда Лена повторила почти слово в слово то, о чем он думал, стоя у окна. Видимо, он все-таки недооценивал ее.

– Мы чужие люди, Юра, у нас разные взгляды, разные ценности, мы с трудом понимаем друг друга. Я вижу, как ты приспособливаешься ко мне, говоришь не то, что думаешь. Это обременительно.

– Что ты имеешь в виду?

– Я имею в виду твой рассказ о Саше, будто благодаря твоим стараниям ему дали всего три года ссылки, а не лагерь и будто тебе чем-то грозил его арест. Чепуха! Просто мне всегда хотелось хорошо о тебе думать и я убеждала себя, что

все так и есть.

Шарок молчал.

– И с Викой. Уж очень нечистоплотно было все мешать в одну кучу.

Он сел рядом с Леной на постели, взял ее за руку, улыбнулся.

– Зачем же ты тогда пришла ко мне в больницу?

– Очень одиноко лежать в больнице, когда никто к тебе не приходит.

– Значит, пожалела. А я-то надеялся, ты менялюбишь.

– Я? – Она задумалась. – Не знаю. Вряд ли... Но я хочу, чтобы мы расстались по-дружески, именно в такой светлый, майский, праздничный день, чтобы именно таким он нам запомнился.

Заговорив о больнице, он дал ей повод показать свое интеллигентское превосходство: он не пришел к ней в больницу, хотя она умирала тогда, умирала по его вине, а она пришла к нему, оказалась лучше, выше его. И сейчас, беременная, она опять все берет на себя, освобождает его от забот, от ответственности, от алиментов. Небось все обговорили уже в семейке-то, небось сам Иван Григорьевич сказал: «Обойдемся без твоего подлеца, рожай!» Опять показывают, что они аристократы, а он плебей.

– Мы очень хорошо провели эти дни, – сказал Юра, – не будем портить их выяснением отношений. Я понимаю: ты маленько накачала себя, не будем продолжать разговор.

Уедем, ты подуспокоишься, и мы вернемся к нему.

Она покачала головой:

– Мы никогда не вернемся к этому разговору. Мы больше никогда с тобой не встретимся, Юра, все кончено.

Она взяла со столика часы, встала, начала одеваться.

– Сегодня будут два автобуса: в семь и в восемь. Я записала нас на семь. Для тех, кто уезжает в семь, ужин будет на полчаса раньше. Так что, Юрочка, поторопись!

Варя поступила в строительный институт. Не на дневное отделение, как советовала Нина, а на вечернее: стипендия мала, а сидеть на Нининой шее она не хочет.

Нину этот довод не убедил: обходятся же стипендией миллионы студентов. Конечно, пришлось бы жить скромно, но все живут скромно. Страна напрягает все силы, создается могучая социалистическая держава. Для этой великой цели народ отрывает от себя последнее, терпит невероятные лишения, сверстники Вари мерзнут в землянках и бараках, строят заводы, фабрики, электростанции. Студенты теснятся в общежитиях по шесть человек в комнате, питаются в дешевых студенческих столовых. А у Вари комната на Арбате, так что прекрасно могла бы учиться и на дневном. И не надо лукавить, наводить тень на плетень. Ларчик открывается просто: учеба на вечернем отделении избавит Варю от общественных обязанностей на работе, а работа освободит от общественных обязанностей в институте. Сама призналась: «Слава Богу, теперь не буду на собрания ходить. Пусть другие тянут руки, ревут от восторга, бараны».

И это она говорит ей, Нине, члену партии! Спорить бесполезно, такая озлобленность в ее возрасте – поразительно!

Повесила над кроватью фотографию Саши Панкратова, увеличенная, в рамке, под стеклом. На видном месте. У Ни-

ны над столиком висит портрет товарища Сталина, а у Вари портрет Саши Панкратова, сосланного в Сибирь по статье 58¹⁰ – «контрреволюционная агитация и пропаганда». К Нине приходят люди, узнают Сашу, заходят соседи и тоже узнают, одна соседка Вера Станиславовна чего стоит, сволочь! Увидела, ехидно улыбнулась, донесет обязательно. Что ж теперь, не пускать людей в комнату?

– Зачем ты повесила фотографию Саши? – спросила Нина.

– А почему тебя это волнует?

– Мы живем в одной комнате, должны считаться друг с другом.

– А ты у меня спрашивала, когда повесила нашего лучшего машиниста?

Она показала на портрет Сталина.

– Почему машиниста? – не сразу поняла Нина.

– Ну как же. Железнодорожники пишут: наш лучший машинист Сталин.

– Не смей так говорить! Понятно? Не смей! Я повесила портрет товарища Сталина, когда тебя здесь не было, когда ты жила со своим муженьком-бильярдистом. Я уважаю товарища Сталина.

– А я уважаю товарища Панкратова.

– Пожалуйста, уважай, только держи это при себе... Нечего афишировать! Кто он тебе? Муж? У тебя, кажется, был другой муж! Жених? Что же ты его не дожидалась, высоко-

чила за какого-то шулера. Он тебе никто. Никто! Ты повесила его фотографию для демонстрации. А чем это может кончиться, не думаешь? Если ты не снимешь фотографию, я сама ее сниму.

– Имей в виду, если только притронешься к Сашиной фотографии, то я сниму твоего усатого, вынесу в коридор, разорву на кусочки при всех. Можешь не сомневаться, что я это сделаю.

Психопатка, распутница! Сотворила себе из Саши кумира, новоявленная Магдалина, новоявленный Иисус Христос. Фанатичка! За одну сотую того, что она болтает, ей могут вклеить пять лет. И Нине придется за нее отвечать. Что она скажет? Не знала о настроениях собственной сестры?

– Я запрещаю тебе со мной так разговаривать! Запрещаю!

– Может быть, мне вообще молчать?

– Да, молчи, если у тебя нет других тем для разговоров. Я коммунистка и антисоветчину слушать не желаю!

– Антисоветчину? Разве я говорю что-нибудь против Советской власти? Я за Советскую власть, только вашего «отца и учителя» терпеть не могу!

– Не смей так называть товарища Сталина, не смей! Товарищ Сталин и Советская власть – это одно и то же.

– Это для тебя одно и то же.

– Не только для меня, для всей партии, для всего народа.

– Не говори за весь народ, вы его хорошо околпачиваете. Врете на каждом шагу!

В коридоре слышались шаги и замерли у их двери. Ну вот, дождались, эта сволочь Вера Станиславовна подслушивает.

– Повторяю, – Нина перешла на шепот, – я запрещаю тебе вести со мной такие разговоры, понимаешь? – Она рубила рукой воздух. – Запрещаю! И запрещаю вести их с кем бы то ни было.

– С тобой я могу не разговаривать, – Варя тоже понизила голос, – ну а с другими – это мое дело. И не махай руками!

– Ты понимаешь, чем это для тебя кончится?

– Ничем. Я разговариваю только с порядочными людьми.

– Если ты еще раз при мне заговоришь в таком духе, то кому-то из нас придется навсегда покинуть эту квартиру.

– Я тебя не задерживаю, – прищурилась Варя, – впрочем... Ты можешь сплавить меня в Бутырки.

– Если ты не одумаешься, то, может быть, придется это сделать.

– Ну что ж, – хладнокровно ответила Варя, – для тебя это будет весьма естественно и логично. Только вот передачи придется таскать.

Варя запела:

Не ходи по льду,
лед провалится,
не люби вора,
вор завалится.
Вор завалится,

будет париться,
передачи носить
не понравится...

– Не юродствуй! – прикрикнула Нина.

– Впрочем, передачи ты носить не будешь, еще бы, какой-то там антисоветчице. Другие принесут. Ладно, – она встала, – не беспокойся: больше на эту тему разговоров у нас с тобой не будет.

Прекратились разговоры не только на эту тему, прекратились разговоры вообще. О чем им говорить? Каждая жила своей жизнью.

Но Нину и это не устраивало. Суровое, ответственное время. Страна, окруженная врагами внешними, борется с врагами внутренними. Малейшее сомнение в Сталине означает неверие в дело социализма. Только безграничная, безоговорочная вера может сплотить миллионы людей на строительство нового общества. В бою не рассуждают, в бою выполняют приказы командования, а не обсуждают их. Ее сестрица отрицает все, что дорого и священо для миллионов советских людей. Раньше были мальчишки, танцульки, рестораны, потом муж – бильярдный игрок, вор, мошенник, теперь антисоветчина. К чему это приведет? Что ждет Варю? И что ждет ее, Нину? Дело не в страхе, дело в ее партийной честности. Прикрывая Варю, она поощряет антисоветские разговоры, значит, поощряет антисоветскую агитацию. Тем са-

мым она совершает преступление перед партией, становится соучастницей.

Но как поступить? Пойти к Варинному начальнику и поговорить с ним? Сообщить в партийную организацию? Донести на сестру? Это ужасно! Ведь Варю посадят, и все будут знать, что посадила ее родная сестра. Но и молчать она не может.

Посоветоваться с директором школы Алевтиной Федоровной? Алевтина Федоровна всегда вела себя с ней по-матерински. Нина была ее любимицей, комсомолка, активистка. Когда Нина окончила педагогический институт, взяла ее в школу преподавать историю, не дала загнать на периферию. А когда Нина хотела собирать подписи под заявлением, связанным с арестом Саши Панкратова, Алевтина Федоровна прочитала заявление и порвала его.

– Этого документа не существовало.

И никогда больше о нем не говорила. А спустя месяц дала Нине рекомендацию для вступления в партию.

Алевтине Федоровне Нина доверяла безоговорочно. Эта полная низкорослая женщина с прямыми редкими волосами, в пенсне на круглом мордовском лице, участница гражданской войны, член партии с 1919 года, олицетворяла для Нины партийную совесть, была образцом, на который она равнялась.

И все же рассказать ей о Варе – значит переложить на ее плечи ответственность: знать в наше время – это уже и от-

вечать.

Нина колебалась, никак не могла решить, как ей поступить. Помог случай. Алевтина Федоровна вызвала ее к себе для конфиденциального разговора.

Алевтину Федоровну прислали в свое время из Наркомпроса для укрепления школы, известной плохим социальным составом учащихся, реакционностью преподавателей, неистребимым духом старой гимназии.

Алевтина Федоровна этот дух истребила. Пришли молодые учителя, среди них Нина, появились пионерская и комсомольская организации, старый обструкционистский родительский совет заменили новым, лояльным. Школа перестала быть закрытым, кастовым учебным заведением – обычная районная средняя трудовая школа с обычным порядковым номером.

Но и Алевтина Федоровна превратилась в директора обыкновенной средней трудовой школы.

Ореол высокой значительности, с которым пришла Алевтина Федоровна, потускнел. Ее воинственность стала ненужной, неуместной, даже смешной. Требовательность обернулась придиричливостью, суровость – раздражительностью. Получив классическое педагогическое образование, она постепенно сомкнулась со старыми учителями, то есть с теми, кто требовал от учащихся знаний, не завывал отметок активистам, отвергал педологические и тому подобные эксперименты. Обнаружив вопиющую неграмотность учеников

восьмого класса, знавших социальный генезис Гамлета, но не умевших ставить запятые, Алевтина Федоровна выгнала молодого преподавателя языка и литературы, последователя Переверзева, и вернула старого, учившего детей синтаксису, орфографии и пунктуации.

Опубликовано постановление ЦК и Совнаркома: преподавание истории носит отвлеченный характер, учащимся преподаются абстрактные определения, а нужно, чтобы в их памяти закреплялись исторические деятели и хронология. Преподаватели привыкли к формуле: история человечества – это история борьбы классов, исторические деятели – всего лишь выразители их интересов. Теперь надо возвратиться к концепциям, трактовавшим историю как деяния великих людей?

Алевтина Федоровна отнеслась к новому постановлению спокойно. Ее, представительницу высшей партийной политики, никакие повороты этой политики не удивляли. К высшим инстанциям не испытывала пиетета, руководителей государства видела с близкого расстояния, относилась к ним как к равным. Троцкого всегда считала чужаком, Зиновьева и Каменева – паникерами. Ей были ближе Рыков, Томский, Бухарин и другие представители коренного русского большевизма. Но они оказались слабы, чтобы принять на себя руководство. Теперь она была за Сталина, не потому, что восхищалась его качествами, знала ему цену, но в данных условиях он единственный, способный держать вожжи. И дер-

жать крепко, практик, а не краснобай.

Алевтина Федоровна сама была практиком, оценивала людей с точки зрения приносимой ими пользы. Однажды на уроке истории даже сказала: «Декабристы? А что они сделали?»

Она понимала, что утверждение в истории роли личности вообще означает возвеличивание роли Сталина в частности. Но разве мало значение личности? Могла без Ленина свершиться Октябрьская революция? Сталину при жизни воздается больше, чем воздавалось Ильичу, но это фигуры несоизмеримые. Ленин не нуждался в утверждении своего престижа, на то он и Ленин, а Сталин нуждается, он всего лишь Сталин. Но авторитет Сталина – это авторитет партии, ее кадров, которым Сталин обязан всем.

Новые учебники по истории еще не готовы. Пользоваться старыми уже нельзя. По этому поводу Алевтина Федоровна и пригласила Нину: организуется всесоюзный летний семинар историков, туда направляются лучшие преподаватели, способные потом сами провести городские и районные учительские семинары. Алевтина Федоровна выдвигает Нину – еще одно доказательство ее благожелательности.

– Спасибо, Алевтина Федоровна, я постараюсь справиться с этим.

– Справишься, – ободрила ее Алевтина Федоровна. – Все хорошо запомни и запиши, тебе придется потом самой вести инструктаж.

– Я все запомню.

Алевтина пристально посмотрела на нее.

– Ты чем-то озабочена?

Нина замялась:

– Ничего особенного.

– Говори, что у тебя! – приказала Алевтина Федоровна.

– Варя, моя сестра, вы ее помните?

– Помню, конечно. Красоточка. Что с ней?

– Выскочила замуж за какого-то бильярдиста, польстилась на красивую жизнь, потом разошлась с ним, ну, естественно, разочарование, плохое настроение и все прочее.

Алевтина Федоровна пытливо смотрела на нее. Понимает, что дело не в бильярдистве и не в ресторанах.

Нина замолчала, не в силах произнести слова «антисоветские разговоры». Она вдруг ясно осознала, что говорить об этом не следует. К этим словам Алевтина Федоровна отнесется серьезно, сентиментальничать не будет, последствия могут оказаться самыми неожиданными и суровыми.

– Ну и что? – отчужденно спросила Алевтина Федоровна.

– Ничего. Вы спросили, чем я озабочена, я вам рассказала.

И улыбнулась, как бы извиняясь за свою минутную слабость.

– Совещание предполагается провести в Ленинграде, но возможно, оно пройдет в Москве, в помещении Института Красной профессуры.

Нина подумала: лучше бы в Ленинграде, она уехала бы из

Москвы и два месяца не видела бы Варю, жить вместе стало тягостно.

Варя была довольна тем, что поступила на вечернее отделение. Теперь уж никто не мог затащить ее ни на какие собрания: «А как же институт?» Кроме того, ей полагались дополнительные свободные дни, например на подготовку к экзаменам, к тому же на вечернем почти не было никаких общественных дисциплин, всяких там политэкономии и прочего, и она могла манкировать неинтересными лекциями, ссылаясь в этих случаях на работу.

И было легко заниматься. Среди своих сокурсников, простых строителей-практиков, прорабов, бригадиров, она, прекрасно подготовленная в школе, способная к математике, физике, была первой, гордостью группы, на дом почти ничего не задавали, к девяти вечера она освобождалась, успевала навестить Софью Александровну или сбегать в кино.

Как-то раз, возвращаясь из библиотеки, Варя встретила Вику.

Вика заулыбалась, обняла Варю, поцеловала. И тут же вынула из сумочки носовой платок, пахнущий духами «Коти», вытерла на Вариной щеке след от губной помады. По-прежнему красивая, нарядная, в легком бежевом пальто и такого же цвета берете, оживленная, обращала на себя внимание, прохожие оборачивались.

– Варя, милая, я так рада тебя видеть.

Была ли рада этой встрече Варя? Чужой человек в общем-то. Но вспомнилась встреча Нового года, где был Саша, вспомнился ресторан, куда Варя попала впервые и где познакомилась с Левочкиной компанией. И она тоже улыбнулась Вике.

– Ты куда? – спросила Вика.

– Домой.

– Может быть, зайдем ко мне? – предложила Вика.

– Нет, меня ждут дома.

– Ну, тогда я тебя провожу...

Вика шла рядом с Варей, поглядывала на нее, весело улыбалась, и казалось, что она действительно рада их встрече. И опять, как и тогда, во времена их прошлого знакомства, повеяло от ее разговоров иной жизнью, бесшабашной, жизнью удачников, счастливых, которым все дозволено и которые все могут. Варя знала, что это не так, что людей, которые все могут и которым все дозволено, не существует. Но был флер, была видимость. Такая жизнь не притягивала, как раньше, но напоминала о том, что притягивала и увлекала когда-то.

– Я слышала, ты разошлась с Костей?

– Да, – неохотно ответила Варя, не хотела разговаривать на эту тему.

– Ты меня извини, Варя, что я вмешиваюсь, но я с самого начала не одобряла твоего брака. Жаль, что ты не спросила меня. Ведь, Варенька, я тебе всегда желала только добра, всегда к тебе хорошо относилась. Но ты без всяких причин

оборвала нашу дружбу. Я тебя чем-то обидела?

– Так получилось, – сдержанно ответила Варя.

– Понимаю, – Вика сочувственно кивнула головой, – все мы рабы своих увлечений. Ты, наверно, слышала, за кем я замужем?

– Слышала.

– Он прекрасный человек, порядочнейший. Любит меня. Но, понимаешь, я почти его не вижу, он уходит рано утром и возвращается поздно вечером, иногда ночует в мастерской. Но что делать? Он одержимый, как всякий гений... Я должна терпеть, должна нести свою ношу. Однако скучновато.

– Пошла бы работать, – сказала Варя.

– Вставать в шесть утра?.. Трястись в трамвае через весь город... Ведь на мне дом, хозяйство, забота о муже, отце, Вадиме – все это на мне... Как работает мой муж, я тебе сказала. Отец и в институте, и в клинике, и в кремлевской больнице, его вызывают по ночам, надо проводить, накормить. В сущности, я домашняя хозяйка. Вадим стал известным критиком, крупным газетчиком. А в журналистике сумасшедшая жизнь, их задерживают в редакции до утра. Три такие личности требуют ухода, вот я их и обслуживаю.

Она покосилась на Варю и добавила:

– Мои мужчины и слышать не хотят, чтобы я пошла работать.

Варя усмехнулась про себя: все сказала, только про Феню, домработницу, забыла упомянуть, Феню, которая подает

Вике кофе в постель.

– Разве у вас Феня больше не служит?

– Служит. Но Феня есть Феня. А в доме бывают не простые люди. Их надо принять, это могу сделать только я. Я не жалею, просто рассказываю о своей жизни. Никуда не хожу, нигде не бываю. И ко мне никто не заходит, хоть бы ты заглянула как-нибудь.

– Когда? Днем я работаю, вечерами в институте.

– Да? Молодец! В каком?

– В строительном.

– Прекрасно! У меня масса знакомых по этой линии, архитекторы, инженеры-строители, может быть, нужна их помощь?

– Нет, – сказала Варя, – никакая помощь не нужна.

– Ну смотри, а то пожалуйста. Я говорю не только о своем муже, а о своих знакомых... Люди с мировыми именами... Одно их слово – и все для тебя будет сделано.

– Ничего не надо, – нахмурилась Варя.

– Не надо, значит, не надо.

Вика остановилась.

– Мой телефон не потеряла?

– Нет.

– Вот и прекрасно. Звони, приходи, посидим, поболтаем...

Почта начала приходить регулярно. После убийства Кирова в газетах почти ежедневно публиковались длинные списки террористов, заброшенных из-за границы и расстрелянных в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске. Создалось впечатление, что именно они и убили Кирова.

Однако в конце декабря 1934 года газеты сообщили, что убийство Кирова из мести организовали зиновьевцы, бывшие руководители ленинградского комсомола, они хотели убить также Сталина и других руководителей партии и правительства.

Всех обвиняемых тогда же и расстреляли.

А в январе 1935 года на скамье подсудимых очутились сами Зиновьев, Каменев, Евдокимов, Бакаев и другие видные в прошлом деятели партии, всего девятнадцать человек. Их прямое участие в убийстве Кирова не было доказано на суде, и все же Зиновьеву дали десять лет, а остальным по восемь, шесть и пять.

Процесс был молниеносный, без защитников, однако версия о причастности зиновьевцев к убийству выглядела убедительной. Кто еще мог это сделать? Ведь и Николаев, как сообщали газеты, в прошлом зиновьевец, и все его товарищи зиновьевцы, и, конечно, моральную ответственность за них несут Зиновьев и Каменев. Сомнительно, заслуживали

ли они такое суровое наказание, но все же, как ни говори, Кирова-то убили! Убили ведь! Не Зиновьев и Каменев убили, а их единомышленники... Убили ведь!

Иногда Саша заходил к Лидии Григорьевне Звягуро.

Жила она по-прежнему у Лариски, шила на машинке, работала много, особенно для кежемских. Лариска относилась к ней почтительно, теперь к ней в дом, к разводке, известной тут... приходили женщины, обсуждали, как и чего шить, и она принимала в этом участие, и ее роль в бабьей деревенской жизни стала значительней: была в курсе всех событий не только здесь, но и в самой Кежме. А может быть, и просто побаивалась Лидию Григорьевну – властная женщина, умела внушать к себе уважение.

Тарасик ее обычно сидел на лавке, молчаливый мальчик, изредка вертел в руках какую-нибудь деревяшку – играл таким образом. И Лидия Григорьевна была неразговорчива – старообразная, некрасивая, с косо выпирающими зубами.

Саша приносил ей газеты, через несколько дней она их ему возвращала, редко комментировала. Только о процессе Зиновьева – Каменева заметила:

– Начинается спектакль.

– Но ведь Кирова-то убили.

– В газетах можно написать что угодно, – желчно перебила Звягуро, – Зиновьев и Каменев никогда на такое не пойдут, и не нужно им это. Убийство Кирова выгодно только одному человеку.

Саша понимал, о каком человеке она говорит.

– Но ведь партия, народ...

– У нас нет партии, – оборвала его Звягуро, – есть кадры, послушно проводящие его политику. Он ненавидит партию и истребляет ее, и народ ненавидит и тоже истребляет.

Саша пробежал глазами по газетным листам.

– Вот что говорит Сталин о народе: «Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбванное плодое дерево».

– Кавказская цветистость, – снова перебила его Лидия Григорьевна, – «садовник», «дерево». Сколько миллионов этих «деревьев» он вырубил на селе, сколько миллионов погибли с голода? Вы его не знаете, а я знаю. Много лет видела вот так, как вижу вас сейчас. Люди, жизни – для него ничто, он хуже уголовника, кого угодно убьет, если понадобится. Он актер, может сыграть любую роль. Сейчас он говорит о людях, льстит народу. Так поступали все тираны. Умный тиран всегда льстит народу, на словах, конечно, а на деле он его уничтожает. Такие мысли не приходили вам в голову?

Да, такие мысли приходили Саше в голову и не могли не прийти. Но, вчитываясь в речи Сталина, он стремился понять этого человека сам, по-своему, а не так, как представляла его Лидия Григорьевна, пронизанная ненавистью к нему.

– Молчите?

Она насмешливо оглядела Сашу, задержала взгляд на обшлагах его брюк.

– Что же вы ходите в таких обтрепанных брюках?

Саша покраснел. Брюки были единственные, и в Москве у него не было запасных брюк, только костюм, который подарил Марк.

– Я обстригаю бахрому ножницами.

– Остроумно... Посидите за занавеской, я приведу в порядок ваши брюки.

Тон был, как всегда, категоричный.

Потом Лидия Григорьевна протянула ему подшитые брюки.

– Одевайтесь!

Он оделся, вышел из-за занавески.

Тарасик все сидел на прежнем месте, играл деревяшкой.

– Тарасик, – сказал Саша, – пойдем на улицу, погуляем.

Тарасик вопросительно посмотрел на Лидию Григорьевну.

– Иди, – сказала Лидия Григорьевна, – сидишь целыми днями дома, иди!

Она одела Тарасика, перевязала его платком крест-накрест, хотя было уже не так холодно, и они с Сашей вышли на улицу, пошли к Ангаре.

Мальчик шел рядом с ним, серьезный, молчаливый, маленький, неуклюжий в перевязанном крест-накрест платке.

– Сколько тебе лет? – спросил Саша.

– Не знаю... семь, однако.

– Значит, знаешь. Читать умеешь?

– Не.

– Буквы знаешь?

– Знаю.

– А стихи?

– Не.

– А тебе мама стихи читает?

– Читает.

– Какие?

– Не помню.

– Хочешь, я тебе почитаю?

– Хочу.

Они стояли над Ангарой. Пригревало. Тарасик мотал головой, видно, ему было жарко.

Саша ослабил узел платка.

– Лучше?

– Ага.

Тарасик вынул руки из рукавиц, они висели на шнурке.

Саша взял его руку.

– Не замерзнешь?

Теплота маленькой, слабой детской ручки пронзила его.

Он присел на корточки, взял ладони Тарасика в свои ладони.

– Тепло?

– Тепло.

Мальчик смотрел на него серьезно. Саша подумал, что Тарасик, наверно, никогда не смеялся.

– Так хочешь, стихотворение прочитаю?

– Хочу.

– Рукавицы надень.

Тарасик натянул рукавицы.

Саша поднялся...

Белая заснеженная пустыня вокруг, только лес темнел на том берегу, освещенный с одного края солнцем. Потом потемнело. Солнце зашло за облако.

– Тебе что-нибудь напоминают облака?

Тарасик пожал плечами.

– Не.

– А вон корабль, видишь? Видишь, мачты, они будто обледенели. Паруса. Видишь?

– Вижу, – неуверенно ответил Тарасик.

Саша вспомнил «Воздушный корабль» Лермонтова и прочитал его Тарасику:

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах...

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт...

И в час его грустной кончины,

В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристаёт.

Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.

Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.

Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он...

На берег большими шагами
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет...

И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою...

Потом на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идет и, махнувши рукою,
В обратный пускается путь.

Мальчик напряженно слушал.

– Ну как, нравится? – спросил Саша.

– Да, – ответил Тарасик, – домой хочу.

Они вернулись. Саша хотел тут же уйти, но Лидия Григорьевна задержала его:

– Газеты забыли. Там фотографии вашего Сталина во всех видах. Оказывается, он даже вел пролетарские полки на штурм Зимнего дворца.

Действительно, в каждом номере газеты портрет товарища Сталина, а то и два и даже три: Сталин один, Сталин и Ленин, Сталин и Ворошилов, Сталин и Молотов, Сталин и Каганович, Сталин и Жданов, Сталин и колхозники, Сталин и военные, Сталин и рабочие, рисованные портреты Сталина, скульптурные изображения Сталина. Большие материалы о победах в гражданской войне: оборона Царицына, взятие Ростова, Пермь, Восточный фронт, разгром Деникина, годовщина Красной Армии, 15-летие Первой Конной, Польский фронт – все Сталин.

В октябре 1917 года, по словам историка И. И. Минца, «Сталин, выполняя волю Ленина, вывел большевистские полки против буржуазного правительства». Ага, над этим издевалась Лидия Григорьевна. А ведь действительно вранье!

Все заслуги Сталину, всюду побеждал Сталин. Приветствия Сталину с заводов, фабрик, из колхозов, с вершин Эльбруса, с вершин Казбека. Каждое выступление, каждая статья начинаются и кончаются его именем.

Но как бы лично он ни относился к Сталину, Сталин олицетворяет народ и партию. И потому все чаще и чаще приходила Саше мысль написать Сталину. Он знал: все пишут Сталину, он не в состоянии прочесть и тысячной доли этих писем, не прочтает и его письмо. Оно и не дойдет до него.

И все же, обратившись к Сталину, он сделает последнюю попытку, что бы ни постигло его, как бы ни сложилась его жизнь, он сможет сказать самому себе: «Я обращался к Сталину». Не помогло? Не помогло.

Два года назад, в институте, когда началась его печальная эпопея, он считал себя не вправе обращаться к Сталину, отнимать у него время, тогда он надеялся сам отстоять себя. Сейчас он не может сам отстоять себя, ему может помочь только Сталин, иначе новый срок, может быть, лагерь – и жизнь кончена. Он обратится к Сталину потому, что он, Саша, тот самый «маленький человек», о котором говорит Сталин, он будет честно трудиться, добросовестно делать свое дело, выполнять свой долг.

В эти одинокие томительные дни, длинные темные вечера, долгие бессонные ночи здесь, в Сибири, на краю света, устав от своих бесконечных дум, он начинал фантазировать, представлял, как присылает за ним телегу Алферов, как он

едет в Кежму и Алферов объявляет ему, что из секретариата товарища Сталина пришла телеграмма: «Панкратова срочно отправить в Москву». В Красноярске для него уже готов билет, из Красноярска он звонит домой, маме. Встречайте таким-то поездом. Мама и Варя ждут его на перроне. Они идут к трамвайной остановке. И на четвертом номере – домой.

Саша долго обдумывал свое письмо, взвешивал каждое слово... «Уважаемый товарищ Сталин! – писал Саша. – Простите, что я посмел обратиться к Вам. Постановлением Особого Совещания при ОГПУ от 20 мая 1934 года я, по статье 58¹⁰, осужден на 3 года ссылки в Сибирь, с учетом предварительного заключения. Более половины срока я отбыл. Но за что я осужден – не знаю. Я ни в чем не виноват. Я учился в советской школе, в советском вузе, был пионером, комсомольцем, работал на заводе, хочу быть полезен стране, а обречен на бездействие. Так жить невозможно. Прошу Вас о пересмотре моего дела. С глубоким уважением. А. Панкратов».

Он написал письмо, но не отсылал его, не решался.

Честно ли он поступает? Не фальшивит ли? Как бы он ни рассуждал, какие бы доводы ни приводил, ведь в душе он не изменил своего отношения к Сталину. Наоборот, после всего, что он увидел и пережил, его сомнения в Сталине только укрепились. А теперь он обращается к нему. Он убеждает себя, что хочет работать, служить стране, а не стремится ли он просто спасти себя, свою жизнь, изменить свою судьбу?

И не наивно ли писать такое письмо? Дойдет – не дойдет? Будет читать – не будет? Пересмотрят его дело – не пересмотрят? Конечно, не дойдет, не прочтает, дело не пересмотрят. Зачем же затеваться, зачем давать его на прочтение в НКВД? Ведь именно туда оно и попадет.

И все же, все же...

14 мая 1935 года Сталин приехал в Колонный зал Дома союзов на торжественное заседание, посвященное пуску Московского метрополитена.

Глядя на сидевших в зале молодых людей – строителей метро, на их радостные, веселые лица, обращенные только к НЕМУ, ждущие только ЕГО слова, он думал о том, что молодежь за НЕГО, молодежь, выросшая в ЕГО эпоху, – это ЕГО молодежь, им, детям из народа, он дал образование, дал возможность осуществить свой трудовой подвиг, участвовать в великом преобразовании страны. Этот возраст, самый романтичный, навсегда будет связан в их памяти с НИМ, их юность будет озарена ЕГО именем, преданность ЕМУ они пронесут до конца своей жизни.

Его мысли прервал Булганин:

– Слово имеет товарищ Сталин.

Сталин подошел к трибуне.

Зал встал... Овация длилась бесконечно...

Сталин поднял руку, призывая к спокойствию, но зал не утихал, все хлопали в такт, это было похоже на удары по громадному барабану, и каждый удар сопровождался громовым скандированием одного слова: «Сталин!», «Сталин!».

Сталин привык к овациям. Но сегодняшние овации были особенными. Его приветствовали не чиновники, не комсо-

мольские бюрократы, а простые рабочие – бетонщики, проходчики, сварщики, слесари – строители первого в стране метрополитена. Это народ, лучшее из народа и будущее народа.

Аплодисменты сотрясали зал, – юноши и девушки вскакивали на кресла, кричали: «Да здравствует товарищ Сталин!», «Великому вождю товарищу Сталину – комсомольское ура!»

Сталин вынул часы, поднял их, показывая залу, что пора уgomониться. Ему ответили еще большей овацией.

Сталин показал часы президиуму. Там заулыбались, польщенные тем, что тоже принимают участие в трогательном общении вождя с народом. И, как бы уступая требованию Сталина, так демократически выраженному, члены президиума стали усаживаться на места.

Садись и в зале, но аплодисменты продолжались.

– Товарищи, – Сталин улыбнулся, – подождите авансом рукоплескать, вы же не знаете, что я скажу.

Зал ответил ему радостным смехом и новыми овациями.

– Я имею две поправки, – продолжал Сталин, – партия и правительство наградили за успешное строительство Московского метрополитена одних – орденом Ленина, других – орденом Красной Звезды, третьих – орденом Трудового Красного Знамени, четвертых – грамотой ЦИК. Но вот вопрос: а как быть с остальными, как быть с теми товарищами, которые клали свой труд, свое умение, свои силы наравне с

ними? Одни из вас как будто бы рады, а другие недоумевают. Что же делать? Вот вопрос.

Он сделал паузу.

Благоговейная тишина стояла в зале.

– Так вот, – продолжал Сталин, – эту ошибку партии и правительства мы хотим поправить перед всем честным миром.

Опять зал взорвался смехом и аплодисментами.

Сталин вынул из нагрудного кармана френча сложенную вчетверо бумажку, развернул.

– Первая поправка: за успешную работу по строительству Московского метрополитена объявить благодарность ударникам, ударницам и всему коллективу инженеров, техников, рабочих и работниц Метростроя.

И опять гром аплодисментов. Когда зал наконец утих, Сталин сказал:

– И вторая поправка: за особые заслуги в деле мобилизации славных комсомольцев и комсомолок на успешное строительство Московского метрополитена наградить орденом Ленина Московскую организацию комсомола.

Снова шквал аплодисментов. На этот раз аплодировал и сам Сталин, воздавал этим честь московскому комсомолу.

И когда он перестал аплодировать, утих и зал.

– Может быть, товарищи, этого мало, но лучшего мы придумать не сумели. Если что-нибудь еще можно сделать, то вы подскажите.

Жестом руки приветствуя собрание, Сталин направился в президиум.

Овация превзошла все предыдущие. «Ура любимому Сталину!» И зал загремел: «Ура!», «Ура!», «Ура!» Какая-то девушка вскочила на стул и крикнула: «Товарищу Сталину – комсомольское ура!» И снова понеслось по рядам: «Ура!», «Ура!», «Ура!»

Овация длилась минут десять. В зале продолжали стоять и аплодировать, выкрикивать «Ура!», «Любимому Сталину – ура!».

Сталин молча стоял в президиуме и смотрел в зал. Нет, это не те, что полтора года назад аплодировали ему на Семнадцатом съезде, те аплодировали неискренне, эти совсем другие, это ЕГО люди.

Безусловно, по своей природе молодежь неустойчива. Молодые тоже со временем коснеют, подрастают новые, им тоже надо дать дорогу, обновление кадров – процесс неизбежный, надо только, чтобы кадры, приходящие к руководству, были ЕГО кадрами. Над тем фактом, что их предшественники уничтожаются, новые кадры не задумываются: захватывая власть, они убеждены в ее незыблемости. И, когда им тоже придется уйти, они обвинят в этом не товарища Сталина, а своих соперников. Товарищ Сталин навсегда останется для них тем, кто вознес их к власти.

Так думал Сталин, вглядываясь в возбужденный, радостный, беснующийся от восторга зал, надо еще что-то сказать,

что-то простое, человеческое, покорить их не только своим величием, но и своей простотой.

И, когда аплодисменты наконец стихли, он негромко, но так, чтобы все слышали, спросил:

– Как вы думаете, хватит поправок?

Буря аплодисментов разразилась с новой силой.

Все встали.

Стоя аплодировал президиум. Аплодировали Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Орджоникидзе, Чубарь, Микоян, Ежов, Межлаук. Это продолжалось бесконечно долго. Люди не могли сдвинуться с места, не могли уйти, не могли расстаться со Сталиным, ведь это был их день, может быть, единственный в жизни день, когда они видят Сталина, они хотели продлить этот праздник, хотели еще и еще слушать Сталина.

Но Сталин уже выступил, больше выступать не будет, и тогда кто-то крикнул: «Кагановича!»

И зал мгновенно подхватил: «Кагановича!», «Кагановича!»

Каганович растерянно покосился на Сталина. Выступать после него?

Но Сталин сказал:

– Что же, Лазарь, народ ждет, поговори с народом.

Каганович поднялся на трибуну.

После заседания в Колонном зале Сталин, не заезжая в Кремль, уехал в Кунцево, на свою новую дачу. В прошлом году ее построил Мержанов – легкое одноэтажное строение среди сада и леса. Во всю крышу солярий. ОН солярием не пользовался, но пусть будет, не понравится – построят второй этаж.

Сталин впервые приехал в готовый и ожидающий его дом.

Покончено наконец с Зубаловым, с этим гадюшником, где обосновалась его так называемая родня: старики Аллилуевы, не прощавшие ему смерти Нади, их сыночек Павел – он-то и подарил Наде пистолет, из которого она застрелилась, Аня – Надина сестрица, толстая неряшливая дура, влюбленная в своего муженька Реденса, а тот, красавчик, спит с кем попапо, грубый, заносчивый, высокомерный поляк.

Не выносил ОН и семейку Сванидзе – родственников своей первой жены, Екатерины. Да и ее он не любил: молчаливая, покорная, но ограниченная богомольная женщина, во всем ему чужая. Надеялась, что он бросит революцию и станет попом, ничего не понимала. Таким же ее сестрица воспитала и Яшу – его сына: молчаливым, чуждым ему подростком. И вот Яшу, которого он никогда толком в общем-то не видел и не знал, его шурина Алеша Сванидзе перевозит в Москву. Зачем привез?! Учиться, видите ли! В Тифлисе нет

высших учебных заведений? Нет, не для этого он его привез. Привез для того, чтобы подчеркнуть, что ОН не интересуется судьбой сына, не заботится о его образовании. И потому об этом приходится заботиться его дяде, Алеше Сванидзе.

Ведь у НЕГО новая семья. Зачем же вводить в семью па- сынка? Чужого, нелюбимого, плохо говорящего по-русски? Что это, как не стремление внести разлад в его семью, иметь своего человека в его доме. Все точно рассчитал. Надя ведь была деликатная, если Яшу отошлют обратно, то люди подумают, что это она его не приняла, для нее главное: что люди скажут!

Такой сюрприз преподнес ему дорогой шурин Алеша Сванидзе. И не единственный сюрприз. Своего собственного сына назвал ДЖОНРИД. А?! Какое имя придумал! В 1929 году! Грузинское имя? Русское? Нет, не русское, не грузинское. Джон – понятно. Есть такое английское имя. Рид? То же, может быть, есть. Но Джон Рид – это имя и фамилия того самого Джона Рида, который написал лживую книжонку, извращающую историю Октябрьского восстания, книжонку, где превозносится Троцкий и ни разу не упоминается ОН, Сталин. Эта книжонка изъята из библиотек, за ее хранение люди получают пять лет лагерей. А его шурин Алеша Сванидзе назвал этим именем собственного сына. Не знает, кто такой Джон Рид? Хорошо знает. Интеллигент. Образованный. Учился в Германии, в Йене. Знает и европейские языки, и восточные, полиглот вроде Менжинского, так что все

понимает и назвал своего сына только в пику ЕМУ.

В жены взял оперную певицу, Марию Анисимовну, неважная видно, певица, если ушла из оперы, чтобы жить с мужем в Берлине при торгпредстве. Привозила Наде из-за границы барахло, ЕГО жене прививала вкус к заграничным тряпкам, разлагала ее морально. Все делают нарочно, злобные, завистливые люди. Играя на бильярде, Алеша всегда ЕМУ проигрывает, а потом объясняет друзьям: «Я выигрываю, а он за это другим головы снимет». Так этот дорогой Алеша Сванидзе говорит за его спиной, так он публично издевается над ним!

И почему такая нежная дружба между Аллилуевыми и Сванидзе? Казалось, они должны были бы ненавидеть друг друга: родственники первой жены и родственники второй. Разве могут Аллилуевы любить Яшу? Или Сванидзе любить Васю и Светлану? Их объединяет общая ненависть к НЕМУ. Его ноги больше не будет в Зубалове. Пусть живут там без него, пусть грызутся между собой. Им надо кого-то кусать, пусть кусают друг друга.

Сталин бродил по саду под теплым весенним, майским солнцем, любовался цветами. Одни стояли еще в бутонах, другие расцвели. Земля должна не только плодоносить, но и радовать глаз. Сталину понравился ухоженный сад, чистые дорожки, аккуратные беседки, открытые площадки, на площадке столик, плетеная лежанка, шезлонг.

Тихо, спокойно. Это не Зубалово с его суетней, толкот-

ней, сплетнями, ссорами. Особенно теща – Ольга Евгеньевна, сварливая старуха, вечно ругалась с обслугой, с «казенными людьми», как она их называла, упрекала за бесхозяйственность, за трату государственных средств, обвиняла их чуть ли не в воровстве, бранила комендантов, поваров, подавальщиц. И это при НЕМ, при НЕМ, люди могли подумать, что ОН поощряет такое обращение с обслуживающим персоналом.

Персонал ее не любил, называл за глаза «блажной старухой», и она действительно была блажной, то кричала, то вдруг начинала изливаться в любви, лила то слезы горя, то слезы радости, то критиковала, как воспитывают детей, и шумела, шумела невыносимо.

Ее отец был наполовину украинец, наполовину грузин, а мать – немка, Магдалина Айхгольц, из немецких колонистов. Теща говорила с грузинским акцентом, вставляла грузинские слова: «Вайме, швило, генацвале, чириме». И тут же немецкое «майн готт»! И непрерывно негодуя воздевала руки к небу: «Майн готт». Это «майн готт» особенно раздражало его, особенно било по нервам.

Старик Аллилуев, Сергей Яковлевич, – старый идиот! Завел в Зубалове верстак, инструменты, точит, паяет, чинит замки и у себя, и на соседних дачах. Этаким истинный пролетарий, «золотые руки».

ОН приезжает на дачу, а тут является какая-то девчонка и просит Сергея Яковлевича прийти починить замок.

А?! Каково?!

ОН сидит на веранде, а у него соседская девчонка спрашивает: «Где Сергей Яковлевич?» – «Зачем тебе Сергей Яковлевич?» – «Замок починить». ЕГО дачу превратили в слесарную мастерскую! И не переубедишь, физический труд, видите ли, облагораживает. Из марксистов-идеалистов. Из общества старых большевиков. Заседает с ними, разглагольствует, как и они. Мемуары пишет. Полдня чужие замки чинит, полдня мемуары пишет.

Что такое общество старых большевиков? Богадельня! Во время январского процесса Зиновьева – Каменева возмущались, пытались даже какие-то решения принимать. Особенно усердствовал Ваня Будягин. Нельзя судить старых большевиков. А почему нельзя? Почему дорогой Ваня не возмущался, когда высылали за границу Троцкого, когда посадили в тюрьму Смирнова Ивана Никитича, Смилгу, Раковского и других троцкистов? А вот по кировскому делу запротестовал. Почему именно по кировскому? Ведь личный друг Кирова, казалось бы, наоборот, должен быть беспощадным, а он против суда над его убийцами и их вдохновителями. Что-то знает? О чем-то догадывается?

Осиное гнездо! Какую пользу приносят? Почему отделяются от партии? Хотят создать особое положение для так называемых старых большевиков, хотят представить себя единственными представителями большевистских традиций, блюстителями ленинского наследия, хотят стать выс-

шим партийным судом, «совестью» партии. Охранителями ее единства. От кого охраняют? Они не партию, они себя охраняют – бывшие троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы, уклони́сты и оппозиционеры всех мастей, убеждены, что их сила в сплоченности, единстве, монолитности, круговой поруке. Ошибаются. Связи, которые они называют деловыми, рабочими, партийными, дружескими, окажутся связями преступными – достаточно показаний одного, чтобы заподозрить многих, достаточно показаний многих, чтобы виновными стали все.

Теперь помалкивают. Молчание – тоже форма протеста.

Что издают в своем издательстве? Что они там пишут? Создают свою историю. Не историю, нужную партии, а историю, нужную им самим, в которой прежде всего нет места товарищу Сталину. Это, видите ли, личные воспоминания, мемуары.

Человек знает только то, в чем он сам участвовал, знает только частное, а не общее, это заставляет его фантазировать, а следовательно, исказить события. Это вредно для освещения истории партии.

Чем же еще занимаются эти так называемые старые большевики?

Ссорятся, меряются своими заслугами, обвиняют друг друга в сотрудничестве с царской охранкой и тем только компрометируют звание старого большевика. Приходится разбирать их склоки, их ссоры – КПК только этим и занима-

ется. Разве у товарища Емельяна Ярославского нет другой работы, как разбирать их склоки?

Кстати, товарищ Емельян Ярославский – председатель этого общества. Конечно, почетно быть председателем общества старых большевиков, но товарищу Емельяну Ярославскому следовало бы подумать, кому это общество нужно. Кому и чему оно служит?

Между прочим, дорогой товарищ Емельян – еще и староста общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Конечно, это тоже почетно, тем более Емельян Ярославский родился в Чите, в семье ссыльнопоселенцев. Но опять же товарищу Емельяну следовало бы подумать, кому это общество нужно. Тоже богадельня, но уже для меньшевиков, эсеров, анархистов и просто бывших уголовников, выдающих себя за политических. Издают журнал «Каторга и ссылка», кого они там печатают? Чьи имена упоминают? Имеют чуть ли не пятьдесят филиалов по Союзу – что там за люди? Для чего эта организация? Чуждые люди, потенциальные враги Советской власти.

Пусть товарищ Ярославский сам внесет в ЦК предложение о ликвидации и общества старых большевиков, и общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев.

Ярославский – умный человек, знает, как все сделать. В июле двадцать восьмого года на Пленуме ЦК хорошо одернул Крупскую: «Дошла до того, чтобы позволить себе к большому Ленину прийти со своими жалобами на то, что Сталин

ее обидел. Позор! Нельзя личные отношения примешивать к политике по таким большим вопросам».

Хорошо сказал. Внес ясность, нужную ясность в весь тот злосчастный эпизод, показал истинную виновницу, подчеркнул ЕГО, товарища Сталина, благородство, принесшего свои извинения, принявшего все на себя, чтобы успокоить большого Ленина. Молодец! Отдельные такие имена надо сохранить в партии. Общество старых большевиков будет ликвидировано, зато старый большевик Емельян Ярославский останется.

Начало свежить, и Сталин вошел в дом.

Заднюю большую комнату он велел обставить так, чтобы она могла служить ему и кабинетом, и спальней, даже столовой, когда в доме не бывало гостей. Только бездельники любят слоняться из комнаты в комнату, а занятый человек все должен иметь под рукой.

У дивана, на котором он спал, стоял столик с телефонами, у противоположной стены – буфет с посудой, там же в одном из ящиков лежали нужные лекарства. Письменный стол Сталин ставить не разрешил – письменный стол придавал бы комнате казенный вид, а здесь не присутствие, здесь жилой дом. Да и работать он мог за большим столом, где лежали бумаги, газеты, журналы, здесь же, на краю, стелили и скатерть, когда приносили обед, завтрак или ужин.

Так и сейчас, когда он вошел, накрывала на стол зубалов-

ская экономка Валечка, веселая молодая миловидная женщина.

– Здравствуйте, Иосиф Виссарионович, я вам ужин принесла.

Она, как всегда, смотрела на него с обожанием и преданностью.

– Спасибо, – ответил Сталин.

А ведь он приказал Власику ни одного человека из зубаловской обслуги в Кунцево не брать.

Валечка накрыла все салфеткой.

– Через полчаса заберете, – сказал Сталин.

– Ладненько! Будет сделано.

Валечка вышла.

Сталин поужинал. Ел мало. Отщипнул кусок хлеба, чуть смазал маслом, выпил рюмку сухого вина, полчашки слабого чая. Просмотрел газеты.

Ровно через полчаса явилась Валечка.

– Поели, Иосиф Виссарионович?

И по-прежнему смотрела на него весело и преданно, счастливая возможностью ему услужить, ловкая, простая женщина.

– Да, спасибо.

Валечка собрала все со стола, поставила на поднос, улыбнулась Сталину, пошла к двери, держа поднос на поднятой руке.

– Пусть ко мне зайдет Власик! – приказал Сталин.

– Ладненько! Будет сделано.

Сталин дочитал газету, встал, прошелся по комнате.

На полу лежал ковер, другой висел над диваном. Эти два ковра да еще камин – вот и вся роскошь, которую он себе позволил.

Дверь открылась, на пороге стоял Власик, стоял по стойке «смирно», по-солдатски выпучив глаза на Сталина.

Сталин посмотрел на него так, как только он один умел смотреть.

Власик стоял ни жив ни мертв.

Сталин снова прошелся по комнате, стал перед Власиком.

– Я вам приказал ни одного человека из зубаловской обслуги сюда не переводить.

– Так точно, товарищ Сталин, приказывали.

– Почему нарушили?

– Никого не перевели, товарищ Сталин, кроме товарищ Истоминой Валентины Васильевны.

– Почему без моего разрешения?

– Вас как раз не было, товарищ Сталин. Мы, значит, собрались, обсудили и решили перевести только товарищ Истому Валентину Васильевну, поскольку она, то есть Истомина Валентина Васильевна, знает, как подать, как унести. Человек проверенный.

– С кем вы собрались, обсудили и решили?

– С товарищ Паукером.

Сталин отвернулся, подошел к застекленной двери, выхо-

дящей на террасу, поглядел на сад.

– Большое собрание... И долго обсуждали?

– Да, – начал Власик и умолк.

Сталин отошел от двери, переставил чернильницу на столе.

– Я спрашиваю, сколько времени вы это обсуждали – час, два, три?

– Час, – едва слышно проговорил Власик, забыв добавить «товарищ Сталин».

Теперь Сталин смотрел на Власика в упор.

– Вы добрый, значит, перевели Истомину сюда, а я, значит, злой, должен прогнать ее отсюда?!

Власик молчал.

– Я должен ее прогнать? – переспросил Сталин.

– Что вы, – забормотал Власик, – товарищ Сталин, мы это моментально...

– Моментально?! – Сталин наконец взорвался: – Болван! Из-за болвана я должен человека прогонять?! Я лучше тебя, дурака, прогоню... Собрались, обсудили и решили... Идиоты!

Сталин снова отошел к застекленной двери террасы, не оборачиваясь, проговорил:

– Идите!

В эту ночь Николай Сергеевич Власик, грубый, невежественный солдафон, впервые в жизни пожаловался на серд-

це. А ничего не подозревавшая Валечка проработала в Кунцеве до самой смерти Сталина.

С западной террасы, которая примыкала к комнате, был выход в сад. Последние лучи солнца пробивались сквозь кусты сирени. Сталин накинул на плечи шинель, снова вышел на террасу, присел в кресло.

Давно надо было уехать из Зубалова.

Кремлевскую квартиру он переменял после смерти Нади, а с переездом на дачу задержался, напрасно – пока строилась «ближняя», можно было ездить на любую из «дальних». Только не в Зубалово. Раньше, при Наде, он еще терпел эту родню, но после ее смерти все там напоминало о ней. И они напоминали о ней. Во взгляде стариков чувствовался укор.

И зачем она это сделала?

Говорят, у него трудный характер. А у кого из великих легкий характер? С легким характером великих не бывает. Видела, какую титаническую борьбу он ведет, видела, как на него нападают, клеветают, плетут интриги, или не понимала, какое государство он получил в наследство и какое государство он должен создать?! Не хотела понимать! Как была петербургской гимназисткой, так и осталась гимназисткой из мещанской семьи.

Истинная аристократка себе такого бы не позволила. Не случайно государи женятся только на женщинах царских кровей, те с молоком матери впитывают в себя понимание того, что интересы династий выше всего.

Даже дочери оскудевших немецких баронов это понимали. Все прощали своим царственным мужьям – и измены, и жестокость, понимали, что такое царствовать. Екатерина Первая была простой прислугой – какая она царица? Меншиков ею управлял, как хотел. А Екатерина Вторая, хоть и из мелкого княжеского рода, сама всеми управляла.

Покончить с собой! Жена какого царя позволила бы себе такое? Нигде и никогда этого не бывало. Понимали, что такое царствование! Не смели бросать тень на царственного супруга. Даже в заточении, даже в монастыре не кончали с собой.

Ну хорошо, не было в ней царственности, не понимала ЕГО значения, считала ЕГО одним из руководителей, не понимала ЕГО роли, не понимала своей роли. К тому же наслушалась всякой чепухи в своей академии, понадобилась ей эта академия – факультет искусственного волокна! А! Очень нужно ей искусственное волокно! Авель, подлец, уговорил. Наслушалась там оппозиторов. Как она смела их слушать?! Она не смела их слушать! Должна была прекратить всякие разговоры! Должна была вести себя так, чтобы с ней даже не смели говорить о НЕМ, а она, наоборот, повела себя так, что с ней смели говорить о НЕМ.

И она слушала.

Самолюбивая, властная, хотела всем управлять, а оказалось, что ИМ управлять нельзя, ОН сам должен управлять. Сопротивлялась ЕМУ, ОН хорошо видел: молчит, а сама

против каждого ЕГО слова. Женщина! Не умеешь быть женой, так будь хоть матерью. На кого бросаешь своих детей? Василий, ладно, мальчик, вырастет, а Светланка – шесть лет девочке, шесть лет, – на кого ее бросила?! На ЕГО плечи переложила?

Учителя в школе жалуются на Василия – плохо учится, дурно ведет себя, ОН сам ездил в школу объясняться, САМ – пусть народ знает, что свои отцовские обязанности он выполняет, как обыкновенный советский человек. Но ведь эти обязанности должна выполнять мать. Ушла от своих обязанностей, дезертировала, отомстила ему – за что?

А ведь любил ее. Помнит день, когда увидел ее совсем маленькой, трехлетней девочкой. После побега из Уфы он пришел к Аллилуевым и внимания не обратил на нее, а вот помнит тот день в Тифлисе... Не заметил, а помнит.

Заметил ее уже в 1912 году, когда с Силой Тодрия пришел к Аллилуевым в Петербурге на Сампсониевский проспект. Он увидел красивую одиннадцатилетнюю девочку, на вид ей можно было дать лет тринадцать. По грузинским обычаям – невеста. Серьезная, замкнутая, малоразговорчивая в отличие от сестры своей Ани.

Он стал часто бывать у Аллилуевых, иногда ночевал в маленькой комнатке за кухней, спал на узкой железной кровати.

В феврале на масленицу они катались на низких финских саночках – «вейках», как их тогда называли, украшенных

разноцветными лентами, звенящими колокольчиками и бубенцами, с запряженными в них коренастыми лошадками с заплетенными гривами. Аня, здоровая уже девица, визжала, когда подскакивали на сугробах, манерничала, а Надя сидела спокойная, неразговорчивая, прелестная девочка в круглой меховой шапочке, шубке и ботинках на стройных ножках.

И наконец, март, весна 1917 года... Он приехал в Петроград и сразу отправился на Выборгскую, но оказалось, что Аллилуевы переехали, живут вблизи торнтоновской фабрики, пришлось добираться туда паровичком. Застал дома только Аню. Надя была на уроке музыки.

Кого ОН ждал тогда? Стариков Аллилуевых ждал, конечно, к ним приехал. А ведь на самом деле ждал, когда придет эта девочка. Пришел сам Аллилуев, они сидели с ним на кухне за самоваром, и вдруг в дверях кухни появилась Надя. В такой же шапочке и шубке, но высокая, стройная шестнадцатилетняя красивая девушка, похожая на отца, Сергея Яковлевича, у того бабка была цыганкой, и у Нади большие черные глаза, смуглая кожа, ослепительно белые зубы.

Она сняла пальто, осталась в гимназической форме, помогала накрывать на стол, исподлобья поглядывая на НЕГО. И, когда сидели за столом, так же молча, внимательно и серьезно слушала разговор, слушала, что ОН рассказывает. И потому ОН не поддерживал политическую болтовню Сергея Яковлевича, а рассказывал о ссылке, о Сибири, о рыбной ловле, о том, как, живя со Свердловым, старался вне очереди хо-

дить за почтой, чтобы увильнуть от работы по домашнему хозяйству. Смешно рассказывал.

Его уложили тогда спать на кушетку в столовой, там же на другой кушетке спал Аллилуев. За тонкой перегородкой спали Ольга Евгеньевна и Аня с Надей. ОН слышал их смех, приглушенные голоса. Потом старик Аллилуев постучал кулаком в стену.

– Угломонитесь!.. Спать пора!

Помнится, ОН тогда громко сказал:

– Не тронь их, Сергей, молодежь, пусть смеется.

Он нарочно сказал «молодежь». Держался как старший, как друг отца, но он на тринадцать лет младше Аллилуева, тогда ему было 38 лет, а Аллилуеву уже за пятьдесят. И он хотел, чтобы Надя сама бы отметила эту разницу, неправомерность того, что он держится с отцом как сверстник, чтобы подумала: «Какой вы старик! Вы молодой!» Не сказала бы так, а только подумала.

Если бы сказала, было бы нехорошо, звучало бы комплиментом, утешением, Аня, дурочка, могла бы так сказать, а она – нет, не могла и не сказала. И он тогда это оценил – умная. И видел ее интерес к нему, не просто интерес к революционеру-подпольщику, прошедшему тюрьмы и ссылки, такой интерес проявлялся всей молодежью. Ее интерес был особенный.

Утром опять все вместе пили в столовой чай. Надя была совсем уже знакомая, домашняя, пришла с улицы, принесла

утренние газеты, положила на стол, как бы для всех, но ОН чувствовал: это знак внимания к НЕМУ.

Потом, помнится, в воскресенье они ехали на крыше двухэтажного вагончика, ОН, Надя, Федя, Аня. Аллилуевы собирались переезжать с Невской заставы поближе к центру и послали сына и дочерей искать новую квартиру. И, как было решено, там будет комната и для НЕГО. Кажется, он тогда еще, смеясь, им напомнил:

– Обо мне не забудьте... И для меня снимите комнату... Не забудьте, – повторил он, выходя из вагончика, и погрозил пальцем.

И, когда он погрозил пальцем, Надя первый раз улыбнулась. Это он хорошо помнит: именно тогда она первый раз улыбнулась не его шутке, а именно ЕМУ улыбнулась.

Они сняли квартиру на 10-й Рождественке, в доме № 17а, хорошую квартиру на шестом этаже: просторная прихожая, большая комната – столовая, она же спальня Аллилуева и Феди, спальня Ольги Евгеньевны, Ани и Нади и в конце коридора обособленная комната для НЕГО.

В сущности, ОН стал членом их семьи. Почти каждый день видел Надю – его влекло к этой девочке, красивой, молчаливой, загадочной. И ее тянуло к нему – он это видел, понимал... Но он был занят Революцией, впервые открыто, легально был занят Революцией – она совершалась на его глазах, он был ее участником, работал в «Правде», часто ночевал в редакции, жизнь на ходу, на ногах. Шла борьба, судь-

ба его, судьба всего их движения – все было неясно. Может ли он сейчас связать жизнь этой девочки со своей жизнью, бурной и переменчивой? Он старше ее на двадцать два года. На Кавказе это не помеха, на молоденьких женятся и более пожилые люди. И в ее возрасте часто увлекаются взрослыми мужчинами.

Но она, как и ее отец, революционная идеалистка, не смотрит ли она на него через романтические очки? А ведь семья – это не романтика, далеко не романтика. Он уже попробовал это один раз. Что получилось? Растет в Тифлисе сын, которого он не знает, которого он почти не видел. Была жена – тоже чужой ему человек. Семья для революционера – обуза... Тем более обуза сейчас, когда совершается Революция. И Революция – не время для свадьбы. Все его товарищи женаты. Жены – их товарищи по партии. Не женщины... Нет!

Надя, конечно, им не чета. Это совсем другое. Но и время другое... Надо утвердить свое положение в партии. Приехав в Петроград 12 марта, ОН уже 15 марта им показал, КТО здесь истинный руководитель. В борьбе за руководящую роль в партии он маневрировал, это было неизбежно в тех условиях и дало результат – во время Октябрьской революции он стал одним из руководителей партии, членом Политбюро ЦК и членом первого Советского правительства. ОН не бегал, как другие, по митингам, не ораторствовал, ОН работал. И когда все определилось, ОН пошел с Лениным до

конца, и никто ЕГО сейчас ни в чем упрекнуть не может.

В те дни ему было не до личных дел. Он видел Надю в те редкие часы, когда появлялся на Рождественке, эта девочка волновала его, но было не до того. Он не имел времени даже подумать об этом.

За него подумала она.

Памятный июньский день. Он сидел в маленькой комнате редакции, писал что-то, в комнату входили люди, выходили, он не обращал внимания, кто входит, кто выходит, только раздражался – хлопают дверью, он всегда не любил этот звук. Но тут приходилось терпеть, и он терпел.

И только один раз оглянулся, когда открылась дверь. Почему оглянулся?

В дверях стояла Надя. Ее он увидел. Потом увидел и Аню.

Был пустой разговор. Отчего так долго не появляется... Его комната ждет его. Все это пустое. Главное – она пришла к нему. Значит, хотела видеть его.

Аня сказала:

– Вы давно не приходили. Мы беспокоимся о вас.

А зачем беспокоиться? Нет оснований беспокоиться. Они дома каждое утро получают газеты, читают его статьи, знают: жив – здоров. Надя пришла его повидать... Соскучилась. Вот это важно, это главное. И когда увидел ее, стоящую в дверях, высокую, стройную, красивую, он и решил, что эта девушка будет его женой.

С этого дня он стал чаще бывать дома, на Рождественке.

Аллилуевы заботились о нем, кормили, даже купили ему костюм. Больше всех хлопотала Аня, но истинной хозяйкой в доме была Надя, самая младшая. Ольга Евгеньевна, Аня суетились, громко, на всю квартиру переговаривались, мешали ему своим криком. А Надя, в фартуке, с щеткой, тщательно убирала квартиру, ставила все на свое место, любила порядок, чистоту – и все молча, без суеты, без крика. Настоящая хозяйка!

Вечерами она играла на пианино, для себя играла и, когда приходил ОН, переставала играть.

– Почему не играешь, зачем перестала? – спрашивал он.

– Отдыхайте, – отвечала она, – не буду вам мешать.

Она училась в гимназии, слыла там большевичкой, высмеивала в классе «душку Керенского», отказалась жертвовать деньги в пользу каких-то обиженных царских чиновников. Но все это он слышал не от нее, а от Ольги Евгеньевны.

Иногда вечерами все сидели дома, ОН просил ее почитать Чехова. ОН любил Чехова и любил, когда его читала Надя. Хорошо читала.

Аня тоже читала, но плохо, не могла удержаться от смеха, прерывала чтение, покатывалась с хохоту – ничего не разберешь... Надя читала, никогда сама не смеялась, а если смеялись слушатели, делала паузу и снова читала. Читала «Хамелеона», «Унтера Пришибеева», «Душечку» тоже читала, но, как казалось ЕМУ, без особого удовольствия.

Иногда к ней приходили подруги. Он слышал их моло-

дые девичьи голоса... Потом они переходили на французский... Он злился, точно они говорят по-французски, чтобы что-то скрыть от НЕГО, выходил нахмуренный. Но то, что Надя знает французский, играет на фортепьяно, ее серьезность, сдержанность привлекали ЕГО.

Как-то он прилег на постель и проснулся от оклика:
– Иосиф!

Он открыл глаза. В дверях стояла Надя... Он сразу почувствовал запах гари, тлею одеяло – он заснул с трубкой в руках...

Она открыла окно. Он вскочил, закатал одеяло. Потом вбежали Ольга Евгеньевна, Аня. Засуетились. Заохали. Надя улыбнулась ему, помахала рукой, вышла из комнаты.

Через год, в восемнадцатом, он на ней женился. И сразу увез в Царицын. Но потом вернул в Москву и больше в поездки не брал.

С какого времени между ними начались трения?..

Наверно, сразу после рождения Светланы... Она тогда вдруг с Васей и грудной Светланой уехала в Ленинград к родителям, объявила, что больше не вернется. Назвала его грубияном, хамом. Такого он никому бы не простил, а ей простил: женщины после родов, говорят, нервные, истеричное начало проявляется у них с особой силой.

Он ей простил, позвонил в Ленинград, просил вернуться, хотел даже сам за ней ехать. Она насмешливо ответила: «Твой приезд будет слишком дорого стоить государству». И

вернулась сама.

Что вложила она в эти слова? «Твой приезд будет слишком дорого стоить государству». Тогда он подумал, что это ее обычная насмешка, обычное женское ехидство. Теперь он понимает это по-другому. Его приезд в Ленинград через несколько месяцев после Четырнадцатого съезда, после разгрома зиновьевской оппозиции, после смены ленинградского руководства никому не нужен. Киров не хотел ЕГО приезда в Ленинград. Там завязалась их нежная дружба.

Уже перед самой смертью она объявила, что, как только кончит академию, уедет в Харьков к Реденсам, будет там работать.

Ему донесли ее разговор с няней. «Все надоело, все опостылело, ничто не радует». Что значит «ничто»?! А дети?

Все делала назло ему.

Знала, что ОН ненавидит духи, считает, что от женщины должно пахнуть только свежестью и чистотой. А она душилась, да еще заграничными духами, их привозил ее братец Павел, и назло одевалась в заграничные платья, которые привозил тот же Павел и дорогие, милые Сванидзе. Сидит в академии среди простых советских людей и пахнет заграничными духами. ЕГО жена... А?!

Зачем Павел подарил ей пистолет? Зачем женщине пистолет? Кому придет в голову дарить женщине пистолет?! Не готовил ли он ее исподволь к ЕГО убийству? После того, что случилось, ОН приказал отобрать у него пропуск в Кремль.

Мало, мало! Он подумал о Павле с ненавистью. Надо строго наказать его. Пусть знает!

Теперь он уже не женится.

Народ его поймет. Потерял любимую жену, не хочет другой – так это поймет народ. Хороший отец не хочет своим детям мачехи – так это поймет народ. И он не хочет своим детям мачехи – новые осложнения, новая родня, новые склоки. Его одиночество много добавит к ЕГО простоте, которая так импонирует и народу. Даже позаботиться о нем некому.

ОН не ездит на заводы и фабрики, не митингует, выступит только в исключительных случаях: на съездах, на пленумах, с короткими приветствиями в печати. Каждое его выступление должно быть событием. И здесь прав Пушкин:

Будь молчалив; не должен царский голос
На воздухе теряться по-пустому.
Как звон святой, он должен лишь вещать
Велику скорбь или великий праздник.

Как сказано!

Надо проследить, проверить, как идет подготовка к столетию со дня смерти Пушкина. Конечно, в Пушкине есть и много неприемлемого, но это неприемлемое надо направлять против тогдашнего царя Николая Первого и его окружения. И надо выпячивать то, что нужно, что выгодно нам. Ведь это он возвеличил Петра: «Медный всадник», «Полтава», «Арап Петра Великого»... Да, когда надо было, Пуш-

кин восхвалял и существующую власть, защищал ее внешнюю политику.

Жалко, что в ЕГО эпоху нет поэта масштаба Пушкина.

Впрочем, почему жалко? Наоборот, это закономерно: рядом с великими правителями не бывает великих поэтов. Какие великие поэты были при Александре Македонском, Чингисхане, Наполеоне, Иване Грозном, Петре Великом? И наоборот: Гомер, Гете, Шекспир, Пушкин, Толстой – при каких царях они были? Кто этих царей помнит? Великий поэт претендует на роль духовного главы народа. Великий правитель – сам духовный глава народа, и рядом с ним никакого другого духовного главы быть не может.

Но все это так, кстати... Разбегаются мысли. Нехорошо. Надо уметь сосредоточиваться... Да... теперь он уже не женится.

Брата первой жены Сталина Екатерины Семеновны Сванидзе, старого большевика Александра Семеновича (Алешу) Сванидзе арестовали в 1937 году и через пять лет – в 1942 году – расстреляли.

Перед расстрелом ему сказали, что, если он попросит прощения у товарища Сталина, тот его помилит.

– О чем я должен просить? Ведь я никакого преступления не совершал, – ответил Сванидзе.

И его расстреляли. Когда об этом доложили товарищу Сталину, он сказал:

– Смотри, какой гордый, умер, но не попросил прощения. Тогда же – в 1942 году – в лагере в Казахстане погибла его жена Мария Анисимовна.

Их сын Джоник (Иван Александрович) сидел в тюрьме вместе с уголовниками и был освобожден только в 1956 году.

Сестра первой жены Сталина Екатерины, Марики, была арестована в 1937 году и очень быстро погибла в тюрьме.

Анну Сергеевну Аллилуеву, сестру второй жены Сталина Надежды, арестовали в 1948 году, приговорили к десяти годам тюремного заключения. Она сидела в одиночной камере Владимирской тюрьмы и была освобождена после смерти Сталина. Ее мужа Станислава Францевича Реденса расстреляли в 1938 году.

Павел Аллилуев, брат жены Сталина Надежды, служил в бронетанковом управлении, пытался защищать невинно репрессированных сотрудников, после чего Сталин перестал его принимать. В 1938 году Павел неожиданно скончался в возрасте сорока четырех лет.

Его жену Евгению Александровну Аллилуеву арестовали 10 декабря 1947 года и приговорили к десяти годам тюремного заключения. Когда Евгению Александровну 2 апреля 1954 года освободили, она уже в Москве, придя домой, сказала сыну: «А все-таки наш родственник нас освободил». Она не знала, что Сталин уже год как умер.

Киру Павловну Аллилуеву, дочь Павла и Евгении, аресто-

вали в 1948 году и освободили после смерти Сталина.

Сын Сталина от первой жены Яков летом 1941 года попал в немецко-фашистский плен, вел себя мужественно и погиб при невыясненных обстоятельствах в 1943 году.

Его жену Юлию арестовали в Москве осенью 1941 года и освободили вскоре после гибели Якова.

Первой в доме заметила беременность Лены Ашхен Степановна.

После ужина, когда все разошлись по своим комнатам, она задержала Лену в столовой.

– Останься, мне бы хотелось поговорить с тобой...

Они сели за стол друг против друга.

– Скажи мне, Леночка, я не ошиблась, ты беременна?

– Да.

– Значит, у тебя есть муж?

– У меня нет мужа.

– Прости... Кто в таком случае отец ребенка?

– Я не хочу называть его имени.

Ашхен Степановна пожала плечами.

Лена добавила:

– И я тебя попрошу: передай, пожалуйста, папе, пусть и он не спрашивает, кто отец ребенка.

Иван Григорьевич молча выслушал жену, сказал:

– Вероятно, это все тот же сукин сын.

– Но она тогда порвала с ним.

– Они встречались после этого. Скажи ей, пусть зайдет ко мне.

– Она боится разговаривать с тобой, Иван, она просила, чтобы ты ни о чем ее не спрашивал.

- Я ни о чем не буду спрашивать, пусть зайдет ко мне.
- И будь с ней поласковой. Обещаешь?
- Обещаю.

Ашхен Степановна вошла в комнату Лены.

- Леночка, отец тебя зовет. Хочет поговорить с тобой.
- Я тебе уже все сказала. Больше ничего не скажу.
- Он ничего у тебя не будет спрашивать. Обещал. Зайди.

Лена отложила книгу, встала и решительно направилась в кабинет Ивана Григорьевича.

Отец сидел на диване. Движением руки показал на место рядом с собой.

Лена села.

Иван Григорьевич долго смотрел на нее, потом улыбнулся.

- Ну что, хочешь произвести меня в дедушки?
- Если получится.

– Надо, чтобы получилось. Прошлогодняя история не должна повториться. Я не упрекаю тебя, просто боюсь, как бы это не повлияло на роды. Поэтому прошу тебя показаться врачу и быть под его наблюдением. Скажи об этом маме, хочешь, я скажу?

– Я скажу сама, – ответила Лена, – и схожу к врачу.

– Теперь деликатная часть вопроса. Безусловно, меня интересует, кто отец ребенка. Не для того, чтобы заставить его жениться на тебе и не для получения алиментов. Воспитаем ребенка и без него. Кто же? Этот твой одноклассник... Юра,

кажется?

– Да.

– Он знает об этом?

– Да.

– Вы хотите пожениться?

– Ни в коем случае.

– Он будет предъявлять права на ребенка?

– Никогда.

– Еще кто-нибудь знает?

– Никто.

– Тогда все в порядке, – сказал Иван Григорьевич, – ребенок есть ребенок, будет жить. Прояви только твердость в своем решении: отсеки этого человека от себя навсегда.

– Я так и сделала.

Она не лукавила перед отцом. После майских праздников Юра позвонил ей на работу, спросил, не изменила ли она своего решения. Непонятно было, что он имел в виду: аборт, их разрыв... Но она не стала выяснять и ответила:

– Нет, своего решения я не изменила и не изменю.

– Тогда прощай.

– Прощай, Юра, – и повесила трубку.

Так обстояли теперь ее дела.

– Правда, папа, – повторила она, – я уже это сделала.

Иван Григорьевич хотел спросить, твердо ли она уверена в своем решении, но не спросил, посмотрел ей в глаза, и то, что Лена не отвела их, успокоило его и обрадовало. Говорят:

инфантильная, пассивная... Нет! Его дочь, его кровь, его характер!

Он обнял ее за плечи, притянул к себе, она прижалась к нему, положила голову на плечо, как бывало в детстве.

В кабинете Ивана Григорьевича, всегда полутемном из-за выступающего угла стены, стало совсем темно. А они все сидели на диване молча, прижавшись друг к другу, отец и взрослая дочь. Такие минуты редко выпадали им в жизни. Они вознаграждали за все то трудное и мучительное, через что им пришлось пройти в последние годы, давали силы спокойней смотреть в туманный и тревожный завтрашний день.

В коридоре раздался звонок.

Иван Григорьевич поцеловал Лену в голову, потрепал по щеке.

– Все, дочка, посидели, это ко мне.

Он встал, зажег свет, вышел из кабинета.

В прихожей стоял Марк Александрович Рязанов.

Приехал он в Москву на июньский Пленум ЦК, позволил, попросил разрешения заглянуть вечером домой, хотя их отношения и разладились: Рязанов не попросил Сталина за племянника, и Иван Григорьевич позволил себе удивиться на этот счет.

Будягин знал, что у Рязанова сложности, его будто бы снимают с завода и переводят в Кемерово на строительство комбината. Назначение странное: Марк Александрович – метал-

лург, а не горняк, не химик, тем более не строитель. За этим, конечно, он и пришел, хочет узнать, в чем суть дела. Но Иван Григорьевич ничем не может ему помочь – сам ничего не знает.

Они прошли в кабинет. Марк Александрович попросил разрешения снять пиджак, небольшого роста лысеющий толстяк с короткой апоплексической шеей, задыхался, взгляд беспокойный и настороженный.

– Ну что, Марк, говорят, в Кемерово едешь? – спросил Будягин. Назвав Рязанова по имени, он хотел подчеркнуть дружеское к нему отношение. Понимал, Рязанов сейчас в нем нуждается.

– Я бы хотел знать причины перевода. Но Григорий Константинович мне их не назвал. Такова, мол, воля партии. Орденom тебя наградили, значит, ценим.

В марте в «Правде» опубликовали большой список руководителей тяжелой промышленности, награжденных орденами Ленина. Среди них был и Рязанов. Возглавлял список сам Орджоникидзе. Будягина в списке не было.

– Я не могу понять, в чем дело. Ломинадзе? Ломинадзе покончил с собой в январе. У нас с ним не было близких отношений, но мы с ним никогда и не ссорились. И не во мне причина его самоубийства. Его вызывал секретарь обкома Рындин, разговаривал грубо.

– Откуда ты знаешь?

– На заводе все это знают, Иван Григорьевич. Лично мне

Ломинадзе об этом не рассказывал, но говорят, будто ему предъявили чьи-то показания о том, что он возглавлял заговор в Коминтерне. И, когда его в очередной раз вызвали к Рындиному, он прямо в машине застрелился, шофер остановился – подумал, лопнула шина. Смотрит, Ломинадзе повалился на бок и говорит: «Бабский выстрел». Как рассказывал шофер, они перед этим останавливались, выпили, закусили, по-видимому, диафрагма поднялась и, хотя Ломинадзе стрелял правильно, на два пальца ниже соска, пуля не попала в сердце. Они вернулись обратно, Виссариона Виссарионовича положили в больницу, прооперировали, но он умер под хлороформом.

Иван Григорьевич внимательно слушал, хотя знал все, что рассказывал Рязанов, знал больше: выдуманные показания Чира и других негодяев посылались самому Ломинадзе по личному распоряжению Сталина.

– Я был убежден, что Виссариона Виссарионовича похоронят на родине, как это принято у грузин, но было приказано похоронить его на городском кладбище, что и было сделано. Грузины поставили ему памятник, собрали деньги по подписке, не бог весть какой монумент, приличный памятник, мог я им это запретить? Может быть, товарищ Сталин недоволен этим?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.